

И П О З А

Ярослав Азумлев

А Х А М И Я

Беспричинный роман ж)

ж) Продолжение. Начало см. "ЧАСЫ" № 54.

По ходу всё углубляющейся осени.

Осень возникает от вращения земного шара. Осенняя погода наводит на меня грусть. Следовательно, вращение земли есть причина печали. Если бы я смог остановить земной мячик, то грусти моей как не бывало бы.

— А я всё-таки не пойму, доктор, сумасшедший он или прикидывается, — говорил толстый писатель, возвращая Асту дневник. — Чего он добивается? На чём помешался?

— Я сам еще не вполне понимаю, с чем борется больной. Мне кажется, что ему претит принцип причинности.

— Ну если бы он затеял преодолеть мировое пространство, выдумал бы, знаете, этакую какую-нибудь машину времени, бессмертия бы, наконец, добивался, чорт его задери, если он чистопородный балбес или вовсе ополоумел, тогда было бы как-то понятно — ну как вообще сумасшедшие делают.

— Вы хотите сказать, что это аномалия даже для сумасшедшего?

— Вот, вот! Именно так! Прямо ненормальная аномалия.

— Если бы вы поглубже знали психиатрию, так вас не удивляло бы, что среди сумасшедших попадаются истинные безумцы.

Соломон Вейзер шел из синагоги, низко опустив голову. Осень свистела вокруг, и мысли хлестали раввина то справа, то слева. Кривобокими улочками, криворотыми переулками несло Вейзера домой. Вдогонку ему приплясывали деревья, по бокам от него покачивались в недоумении темнолицые дома. И раввин был с ними один на один.

Мысли свистят так быстро, что я ни одной не успеваю за-сечь. Они во много раз быстрее и неупорядоченней броунова движения. Надо приготовить новую аппаратуру.

— Почему же страшно сказать?

— Если я вам скажу, то мне может быть потом уже и не страшно.

— Ну, так и говорите скорее!

— А если мой страх на вас перейдет?

— Да говорите же! Не боюсь я вашего страха.

— А вдруг мне станет еще страшнее?

— Экий вы нескладный! Да отчего же вам страшно?

— Если я открою вам, почему мне страшно... Нет, нет! Нельзя! А может быть, мне и страшно-то оттого, что я не знаю, почему мне страшно.

— Но ведь должна же быть причина вашему страху!

— Должна-то, должна... Ну а как её нет?

— Что? Нет причины? Постойте...

— Нет, не буду стоять.

Художник ринулся опрометью прочь и на бегу кричал:

— Погодите! Дайте срок! Авось, всё образуется, и тогда я скажу вам...

Открытие Соломона Вейзера...

А, чорт! Опять затемнение!

— Я полагаю, ваше высокопреосвященство, что включать в проведенье делу самоубийства несколько неосторожно.

— Почему же?

Кардинал сидел, как на старинном портрете, положив руки на подлокотники помрачневшего векового кресла.

— А если кто-нибудь из паствы, убежденный доводами отца Майниса о бессмысленности жизни, покончит с собой?

Его высокопреосвященство потянулся в кресле.

— Вряд ли сыщутся охотники. Пусть уж светские власти усматривают здесь нечто уголовное и квалифицируют это как подстрекательство к самоубийству, а нам, лицам духовным, — кардинал опять потянулся и зевнул, — нас это не должно тревожить. Ведь самоубийством-то покончит не только олух, но и человек неверующий. Сам ли он на себя руки наложит или отправится на тот свет естественным путем — всё равно не видать ему рая, как своих ушей. Так что невелик убыток.

— Следовательно, вы, ваше высокопреосвященство, считаете, что отец Майнис...

— Один из вполне достойных служителей церкви, и никаких мер принимать не надо. Впрочем, передайте письменное донесение моему секретарю.

Кардинал остался один, а через несколько минут перед ним появилась рыжая Ева и, сияя от возбуждения, протянула к нему руки белого налива:

— Ваше преосвященство!

Открытие Соломона Вейзера... Слушайте, милочка!.. Если ты, стерва, будешь... Надоедает!.. Это я писал вам...

— Ну вот я уложил свои мысли и теперь могу начать.

— Начинайте!

— Точнее говоря, я буду продолжать. Остановился я на том, что постель в брачной жизни занимает много места. Я не верю, да, думаю, и вы не верите в то, что искренне любящий муж никогда не помышляет изменить жене. Что жены такие встречаются — этому даже я изредка верю, ну а насчет мужей — дудки! Допускаю, что были, бывают и будут

мужья, никогда не изменявшие женам. Однако не изменяли-то не оттого, что не хотели, а по той единственной причине, что возникали помехи: то не с кем было, а то мораль удерживала желание. Но ведь само-то желание Никуда не денешь! Прелюбодействуют в сердце своем, как совершенно точно сказано в Писании. И не оттого желают, что не-вмоготу. Какое там не-вмоготу, когда желают у жены под боком! Просто напросто надоедает одно и то же блюдо.

Доктор Аст сказал /а может быть только подумал?/:

— Человеку всё надоедает. Он устает от движения и изнемогает от покоя; приучась к порядку, он непрочь его нарушить; он рвется быть последовательным в мыслях и поступках, а когда напробуется вдоволь этой последовательности, то его так и тянет отколоть какой-нибудь дикий номер; он скучает без дела, но приходит срок, и он клянет любимейшую работу, готовый променять её на благословенную лень, когда можно лежать и поплевывать в потолок, словно на мироздание. Человеку всё надоедает, даже и жизнь. И отовсюду всего-то он устает, даже от самого себя.

Сказал это всё или не сказал доктор Аст, но одно слово прозвучало явственно:

— Надоедает!

— А раз нельзя найти такого мужа, который не прелюбодействовал бы в сердце своем — об уроках я умалчиваю — так и не может никто утверждать, что он верен жене своей. Ведь не признается, сукин сын, что запускать бесстыжие глаза в её приятельницу, пусть и мимоходом, и запускать по всей страстной правде. И жена чувствует или подозревает, что очи у него нечистые, а тоже молчит. Разве это не лицемерие, доктор?

— Пожалуй. Но спасительное.

— Для кого-же спасительное-то?

— Для брака.

— Да надо ли спасать это шаткое сооружение?

— Не знаю, — отрезал Аст.

— И я не знаю. Так не всё ли равно, во плоти ли изменяет муж жене или мысленно? Честной и чистой супруге оскорбительно и то и другое. Но про мысленные измены она помалкивает. Заглядывайся себе, только до дела не доводи!

— Вы, кажется, опять отвлеклись — в психику замужней женщины.

— Нимало! Точно так же относится и муж: подмигивай, только целоваться не смей! Мужья ревнивей жен. Ревность, вот что всего злее в браке. От неё все качества. Чтобы упрочить брак, нужно уничтожить ревность.

- Не знаю, - и голова доктора повисла в пространстве, как самосветящееся матовое яйцо. - Не знаю, упрочит ли это брак, но он станет спокойнее, ибо вместе с ревностью исчезнет изрядная доля волнения и брачных мук. Но как уничтожить ревность? Это ведь не чума и не холера.

- Да, не чума, но тоже недуг, возникший в итоге общественного развития, Болезнь психическая и социальная, но не повсеместная. Вы же знаете, что у некоторых народов гостя потчуют на ночь собственной женой. В Японии девушки зарабатывают себе на приданое в чайных и в публичных домиках. А жених провожает свою японочку в такой домик и терпеливо дожидается, пока она науслаждает гостей.

- Да, но зато потом, когда они поженятся, ревность опять вступает в свои права. И японцы прячут неверных жен не хуже прочих народов.

- Ах, доктор! Всё зависит от точки зрения. Знавал я - и не одну! - женщину, которая гордилась тем, что у мужа постоянно меняются любовницы. А оттого гордилась, что её, не шибко-то красивую, не больно-то молодую муж не бросает, заботится о ней и, стало быть, любит, предпочитая всем своим приبلудным красавицам. Тщеславие иногда сильнее ревности. Мужей таких, правда, лично не видел. Сутенеры не в счет. Но знаю, что и наш брат по этой части тщеславен. У некоторых племен считается непристойным жениться на девственнице, ибо...

- Обобщите вашу мысль, а фактов я вам и сам сколько угодно выложу, - усмехнулся Аст.

- Обобщаю. Стоит только изменить общественное мнение насчет ревности, убедив, что она смешна и выходит из моды, как и перестанут ревновать, право, перестанут. Кому же охота будет мучиться зря?

- Стоит только... - насмешливо повторил врач. - А сколько? Во что обойдется -то?

- Дорогонько, доктор, дорогонько! Но подешевле, нежели муки ревности. Да ведь и сама-то ревность - плод общественного воображения. Ну, рассудите сами, что вам за убыток, если ваша жена развлечется с другим мужчиной? Как в кино сходит. А если вы любите свою жену, так почему тогда лишаете её удовольствия, которое не стоит вам ни гроша. Дешевле кинематографа!

- Я холост. - И ладонь Аста ребром перерезала невидимую нить.

- А вы никогда не ревновали?

- Мне сложно было. Я не бывал женат. А ревновать замужнюю любовницу и вовсе нелепо.

— Я не о вас лично, доктор... А в ревности нет ровно никакой югики, один вред. Она настолько бессмысленна, что, думается, даже быки понимают это.

— Ну быки-то, положим, бодаются и даже насмерть.

— Так вот вам, доктор, довольно простой способ укрепления брака: юлой ревность и да здравствует свобода, легкомысленная свобода удовлетворения похоти! Незамедлительного удовлетворения! Без оглядок, без колебаний, без проволочек! Как обед в ресторане и с выливкой!

Больной вскочил и сверкал, как одержимый наитием святой. Он излучался квантами счастья, он был воплощенной эманацией эйфорической эмоции.

— Стало быть, свальный грех? — врезался взглядом в больного Аст.

— Ну, не так примитивно, доктор! С выбором, с чувством, но, в общем-то, это самое.

— И вы полагаете, что этим самым будет решена проблема любви и брака? — устало и равнодушно, чуть ли не по слагам спросил психиатр.

Больной заметался по кабинету, потом грохнулся на стул и сидел, згорбясь, как будто слова Аста стукнули его по затылку. Затем вынул голову из-под навалившегося вороха мыслей, уставился на врача и печально прошептал:

— То-то и беда, что — нет!

Аст выжидал.

Я смотрело и наблюдало не хуже, нежели князь Нарренберг. Ему предстали только молниевидные зигзаги; а мне — зигзаги голосов, и дымчатые клубы были их мысли, мысли без слов. Но я видело, как эти мысли старались проникнуть в глаза князя. И завязли в очках. Очки оказались для них непроницаемыми. Голоса сломались и остались в виде трещин в стекле.

Майнис ошалевал от напряжения черных чулок вокруг икр и колен. Он стоял и побаивался. А чего?

— Вали ее, суку, ребята!

Крик полоснул по моему экрану, и багровая рожа в рыжих вихрах ворвалась...

В соборную тишь струился сквозь цветные стекла светлый осенний день и негромкая речь отца Ионы:

— Сии приверженцы логики, прислужники науки, приспешники здравого смысла и апостолы последовательности явно грешат непоследовательностью. И не к ним обращаю я слова мои, ибо горьки они им покажутся, и убоятся они вкусить горечи. Обращаю я слово мое к маловерам и верующим равнодушно.

Отрицающие душу и бессмертие её считают, что их суждение истинно. Но, уподобясь Понтию Пилату, я спрошу: *Quid est veritas?* Что есть истина?

Отвечают на Пилатов вопрос по-разному, и уже из неоднородности определений истины следует, что суть ее нелегка. Но если истина есть, то какова бы она ни была, в чем бы ни заключалась её суть, она оказывает на каждую личность некое действие. Каково же бывает состояние человека, когда он полагает нечто истинным? Такое состояние известно всякому, и у всех оно одинаковое. Это состояние полнейшей убежденности, совершенной веры. И само чувство убежденности, сама сила веры не зависят от того, убежден ли человек в некоей истине или факте на основании новейших данных науки, или от воображения, или же оттого просто, что ему хочется верить.

Посмотрите, как бывает в жизни! Влюбится какая-нибудь девушка в молодого человека и убеждена, что он будет любить ее до конца жизни, убеждена в этом так же, как мы с вами в том, что дважды два четыре, и даже, пожалуй, сильнее. Ибо верит она в свою и его любовь горячее, нежели мы в арифметику. Ведь истина любви куда дороже ей и важнее, нежели нам истина арифметическая.

Но ведь истина может обернуться и ложью! Да, но пока в девушке жива ее вера, любовь до гроба будет ей непреложной истиной.

И грустно просияла в четвертом ряду светлорусая девушка.

— Молодой ученый женился и верит, что любимая жена верна ему и будет верна век. Верит он в непорочность супруги жарче, нежели верует науке своей, верует, как в святую истину, и не хохочут над ним коллеги, кроме разве отъявленных циников, которым и наука только тем истинна, что она им вроде доходного места. Не хохочут, ибо благо ему от веры его может быть и недолгое, а все-таки благо.

В седьмом ряду кто-то опустил голову.

— Великое дело — вера, братья мои! — взмахнул черными рукавами с кафедры тощий старый грачонок, словно собираясь вознестись в упоительную высь. Очи грачиные загорелись, и маленький майнис взметнулся собственной громадной тенью по стене собора. Затрепетало пламя в лампадах, застучали...

Мой сейсмокардиографический аппарат зарегистрировал усиленные систолические и диастолические толчки.

Крылья опустились, седой грачонок подался всей рыскающей вперед и каркнул:

— Во что веришь, то тебе и будет истинно. Да, братья мои! Истина существует до тех пор, пока верится. Таков душевный уклад любой личности. И от него никуда не деться. Я позволю себе сказать, что всякая вера есть истина, а всякая истина есть вера.. Не вообще, разумеется, а для каждой отдельной личности...

Люди ученые могут мне возразить, говоря: Вера в то, что твоя пятью пять всегда будет двадцать пять, отличается от веры в выигрыш по лотерейному билету, а таблица умножения истинна во веки веков.

Не смею спорить, что истинность выигрыша по лотерейному билету — недолгая и ненадежная личная истина, а таблица умножения — долгая общественная истина. Но доказать мне вечную истинность таблицы умножения люди ученые не смогут, равно как и я не смогу доказать им обратное.

Итак, не может быть никому такой истины, в которую сам человек не верил бы. Истина является ему всегда в сопровождении веры, будь то истина бытовая, научная или религиозная.

Я уже упомянул, что вера, равная истине, часто бывает благом. Я уже показал, что девушке вера ее в любовь до гроба куда важнее и действует на нее не в пример сильнее, нежели таблица умножения. А если вера в любовь до гроба пронизывает существо человека, словно блаженная истина, тогда как вера в таблицу умножения оставляет равнодушным, то насколько же важнее и блаженнее верить в душу свою, в бессмертие ее и спасение!

Если допустимо верить в друга, в невесту, в жену, в учителя, в исцеляющую руку хирурга, в успех собственного дела — в вещи преходящие и не очень-то надежные, то отчего же не верить в душу свою, в бессмертие ее и во спасение?

Грачонок опять взметнулся ввысь. Собор замер. Мысль покружилась под сводами и вновь опустилась на кафедру.

— Думается мне, — прищурился священник, — что душа-то поважнее будет, нежели друг или жена, ибо душа у человека одна-единственная, а друзей и жен бывает и по нескольку.

Из предпоследнего ряда выползла замшелая, запаршивевшая старушонка, которая, потихоньку ворча и оглядываясь на пастыря, потащи-лась к выходу.

— Вот и говорю я вам, маловеры и верующие равнодушно и слепо: уверуйте в душу свою, уверуйте так же твердо и неколебимо, как в таблицу умножения, и так же горячо и страстно, как в любимого человека или в любимое дело, и благо вам будет не только на земли...

Проповедник поперхнулся и закашлялся. Кое-как справляясь с кашлем, махнул рукой и закончил сквозь проступившие слезы:

— Сами... понимаете... где.

Извиняющаяся улыбка завершила образ. Переведя дух, отец Иона продолжал:

— Вера в бессмертие души есть несомненное благо. С такой верой и жить и умирать легче. Позвольте привести вам довод некоего богослова XVII века, довод, высказанный по предмету иному, но вполне приложимый и к душе. Если вы верите в душу, а ее не окажется, то вы потеряли немного; если же вы не верите в душу, а она есть, то вы потеряли всё.

По стене собора проскользнула тощая, сутулая, горбоносая тень с адскими смоляными глазами, самодовольно осклабилась и скрылась где-то у выхода.

— Верить в бессмертную душу свою куда спокойнее и надежнее, нежели в любимого человека или в любимое дело. В любимом человеке или деле недолго разочароваться, и тогда они предстанут омерзительной пустотой. В душе своей, если веришь горячо и твердо, разочароваться нельзя до самой смерти. Душа не может изменить, как женщина, ни предать, как друг. В душе нельзя обмануться. Бедь если её не окажется, то и обманываться-то будет некому. Ибо если тебя не станет, то и знать, что души нет, будет некому.

Вера в бессмертную душу — великий дар Господень. И должно обращаться с даром сим бережно, дабы не погубить его. Примите же в себя, в умы, в сердца благословенный сей дар! Примите и блюдите его! Ибо в даре сем и спасение человека и погибель. В следующее воскресенье, братья мои и сестры, я снова буду говорить вам о спасении души. *Pax vobiscum!*

И, благословив паству, отец майнис спустился с кафедры.

После моей смерти писали, что я вдохновенный труженик, незабвенный учитель, что я всегда принадлежал народу, что память обо мне сохранится в сердцах и еще в чем-то, что в сердцах же я буду жить... Вот болваны-то! В сердцах! Очень мне, подумаешь, нужно жить в ваших ~~сердцах~~ поганных сердцах!

Особенно смешно выглядели такие чувствительные строки у людей, именующих себя позитивистами и материалистами. За всю смерть свою не видел ничего глупее, смешнее и омерзительнее некрологов. Экие негодяи! Умер человек, а всё равно покоем не дают. Эхма! Вот и помирай после этого!

Больной повторил:

— То-то и беда!

Аст продолжал выжидать и думал:

"Не слишком ли часто я в жизни выжидал? Да разве один я? Сколько нас, ждущих?"

Я тем ещё и жив, что жду надежду,
а сам лежу в каком-то нежном Между —
раздался горький и яростный голос и оборвался.

Началась, как вытаращенное многоточие глаз, тишина.

"Я сделал вчера крупную ставку — самого себя бросил на люди, и, кажется, выиграл. Жаль, что при этой игре не было Александра".

— Позвольте обратить ваше внимание, ваше высокопревосходительство, на последнюю проповедь настоятеля Петровского собора Ионы Майниса, в которой он сеет зерна сомнения, подрывающего авторитет науки, и утверждает, что с научной точки зрения жизнь бессмысленна, а следовательно, ученые должны показать пример и кончать с собой.

Генерал стоял, как изваяние на постаменте.

— Проповедь Майниса № не что иное, как призыв к самоубийству, и по последним сведениям среди тех самоубийц, лишивших себя жизни по причине её бессмыслиц, был один магистр естественных наук.

— Дуракам закон не писан, — гаркнул генерал.

— Кто же дурак-то, ваше высокопревосходительство?

— Подумайте сами, любезный, подумайте. Писателям иногда не мешает это делать.

Оставшись один, генерал позвонил, и тотчас возник гладкий молодой человек.

— Позаботьтесь о священнике Ионе Майнисе. Мотив — последняя проповедь.

Гладкий молодой человек выскользнул из кабинета.

А больной сказал в третий раз:

— То-то и беда!

Доктор Аст написал в тетради № 2:

"Жизнь моя предстает мне порванным в клочки письмом. Письмо изорвала она, милая. Если бы кому-то понадобилось прочесть мою жизнь, то нужно было бы сложить клочки так, чтобы получилось нечто

связное и последовательное. А сделать это мудрено даже мне самому."

— То-то и беда! — в четвертый раз сказал больной.

Осенью, уже в заморозки. Кружка послушна. Но не всегда. От топанья она спрыгивает со стола на пол и кубарем катится к двери. Спрыгивает, а не падает. Я бы сказал, спархивает, как танцовщица. Только вот толстовата для балерины. Спрыгнет, а на полу не устоит, бух на бок и кубарем, кубарем к порогу. Мне это не мерещится, ибо несколько раз в палату заходил дежурный санитар и укоризненно качал головой: "Нехорошо кружкам кидаться. Или игру новую выдумали? Кружка — предмет для питья, а не для игры".

Итак, кружка скачет вопреки привычным законам природы. Единственная причина её скачков — моя воля. Но кубарем-то по полу кататься я ей не велел. *Ergo*, она сама катится, да еще через ручку переворачивается. Да и мое желание нельзя считать абсолютной причиной, ибо кружка то слушается, то не слушается. Сегодня я велел ей подниматься и опускаться вслед за моей рукой. Двенадцать раз кряду кружка выполнила это упражнение, а на тринадцатый — ни с места. Причинная связь нарушена. Но есть ли причина беспричинности? Или же, наоборот, беспричинность есть *causa causatum*, не перво-причина, а именно ~~сана~~ *causa omnium causatum*?

Если бы кто-нибудь видел, что творится у меня в палате, он бы с ума сошел. А мне — ничего, привычно стало. Когда умру, комнатку мою будут называть ума палата.

— То-то и беда! — с отчаянием прошептал больной.

Рядом с Вейзером возник тощий, как тень, мертвецки умный человек с выпученными глазами. Глаза были злые, восторженные, мучительные.

Соломон Вейзер с перепугу схватился за нос: с лица незнакомца свисал его, Вейзеров, крючкообразный нос. Однако нос раввина существовал в двойственном числе. И двойник был почему-то страшен.

— Я давно собирался побеседовать с вами! — сказал тощий человек, и белый наплечный воротник засиял такой белизной, что у Вейзера заломило глаза. — Хоть ты и жид, а математик изрядный.

Навин шарахнулся было в сторону, но незнакомец вцепился ему в балахон и потянул к себе:

— Не бойтесь! Меня, говорю, не бойтесь! А там, справа от вас, пропасть. Прямой дорогой в ад захотели?

Вейзер оглянулся направо и увидел крохотную пропасть, вроде щели в деревянном полу, но где-то вдалеке.

— Вы сделали открытие чрезвычайного значения.

Остолбенелый раввин молчал.

— Чрезвычайного!

— То-то и беда! — затихал больной.

— Зачем вы столько раз повторили эту фразу? — любопытствовал Аст.

В больном всколыхнулись Кемаль-паша, Рудольф Штейнер и еще кто-то:

— А я авансом?

— Что авансом?

— Загодя повторяю. В жизни столько раз бывает нужна эта фраза, что выгоднее заранее выпалиться целую обойму, чтобы меньше ахалось и охалось потом.

Но кто же ещё всколыхнулся?

Если бы на месте доктора Аста сидел художник Баст, так он, пожалуй, уловил бы черты колыханья и изобразил бы третьего. А лишний этот третий или нет?

Но Баст в это время...

Уже четверть часа Эдуард сидел на скамейке в одном из задрипанных городских садилов, а она всё не шла.

"Она была учительница географии, а кроме географии обучала у себя на дому кройке и шитью. Темнорусая, всегда в серых или серебристо-серых платьях с непременно белым отложным воротничком, она казалась ему воплощением тепла и покоя. Тяжелые ресницы нависали над голубизной, и ему иногда чудилось, что его охватывает мирный, мохнатый как мох, лес, а из-под чуть насупленных веток, словно озарение души, проглядывает небесная лазурь. И тогда ему думалось: "Как хорошо, что есть такие спокойные, непритязательные и преданные любовницы".

Ей было двадцать четыре года. Она была на двенадцать лет моложе Александра".

Разрумянившаяся Ева вышла от Кардинала и самодовольно усмехнулась.

Вдоль бульвара двигалось задумчивое бледное существо с подкисшим носом. Нос был постоянен и повторялся как однообразный аккомпанемент.

Существо бормотало под него грустную песенку вперемижку с какими-то бранными междометиями. К рукаву его притронулось другое,

весьма бледное и напряженное существо:

— Постой, малый, побалакать надо!

— О чем? — удивилось задумчивое существо.

— Угости-ка пивышком, а то водчонкой, — брякнуло напряженное.

— С чего это я стану тебя пивом поить?

— А с чего бы и нет?

— Да ведь ты в штанах?

— А что же мне без штанов, что ли, на улице ходить?

Напряженное смотрело в упор на перестающее быть задумчивым. Игриво болтались длинные, словно обсосанные белообрывные прядки, свисая из-под темного берета.

— Ты — не девочка. Да и не до девочек мне сейчас. Гляди-ка, что выдумал! Пивом я буду поить такого милачка! Держи карман, да пошире, я тебе туда такого пива набуровлю... Отцепись!

Однако напряженное сжало руку бледного так, что бледное покраснело.

— А вот напоишь!

К рыжей польке подошел багровый с рубцом:

— Почему?

Полька усмехнулась:

— Что почему?

— Не что, а кто! Ты почему?

— Вы, сударь, ошиблись адресом.

— Брось мне в-кручивать! Знаю про тебя...

— Брысь отсюда, дурень безмозглый! Я только что от его высокопреосвященства.

Багровый сиганул в подворотню и сгинул.

По городу шел туман.

Аст и Майнис сидели за шахматами. Партия только что кончилась.

— Если бы я на шестнадцатом ходу пошел пешкой "с", а не конем, — сказал врач, — то игра резко обострилась бы, и открылись бы возможности атаковать и жертвовать. В сложившейся позиции таились такие возможности.

— А давайте посмотрим, как изменилось бы течение партии, — предложил священник.

Противники восстановили позицию перед шестнадцатым ходом.

— Видите, — сказал через несколько ходов Аст, — если бы я не избрал довольно банальным объектом атаки слабую пешечку, которая была и без того податлива, то под мой обстрел могла попасть пешечка крепенькая, не трогавшаяся с места, вот эта! А та, зашедшая

же далеко, и так никуда бы не делась.

Майнис быстро закивал, словно говоря "да-да-да!" и затуманился. Доктор Аст смотрел в осатанело мутное окно,

— Мне думается, — прервал он молчание, — что жизнь человека очень похожа на игру в шахматы. Играешь, как в большом турнире, артикулируешь за партией, и в каждой создаются позиции, в которых заложены разные возможности. Ладно еще, когда возможностей бывает только две, и надо решать или-или. Да и то может оказаться такое или-или, от которого зависит весь ход и даже исход партии. А от выбора уклониться нельзя! Человек вынужден выбирать, в жизнь ли он играет или в шахматы.

А если возможностей больше двух, так ведь тут голова кругом идет.

— В шахматах-то еще полбеда! — усмехнулся магистр богословия. — Вот если в жизни появляется слишком много возможностей, то не только трудно выбрать лучшую, что само собой понятно, но и решение становится менее обоснованным, менее продуманным, ибо, как и в шахматах, грозит и торопит цейтнот. Но что, пожалуй, хуже всего — так это раскаяние! Столько было возможностей, и на тебе! выбрал самую скверную. При простом или-или бывает не так досадно. Тут всегда можно объяснить себе, почему ошибся, и даже с грехом пополам простить себя. А вы знаете, доктор, что иногда простить себя труднее, нежели другого?

— Когда же?

— Мы охотно прощаем себе наши слабостишки, грешочки, грешки, грехи и даже преступления, прощаем всё это легче, нежели другим. Тут мы с большим проворством ищем и находим или оправдание или всякие смягчающие обстоятельства, а уж если это не вполне помогает, то довольно ловко и легко забываем. Но когда мы совершаем ошибку, избирая скверную возможность, мы клянем себя и мучаемся гораздо сильнее и дольше. Тут не отыскивается никакого оправдания, тут уж не помогают смягчающие обстоятельства, и единственное средство избавиться от самомучительства — это почти насильственное забвение.

— Так-то это так! Но отчего?

— А оттого, доктор, что человеку легче быть преступником, нежели дураком. Не оттого ли Наполеон и сказал про расстрел герцога Энгиенского — это было больше, нежели преступление, это была ошибка?

Врач держал в пальцах пешечку, белую пешечку и разглядывал выточенную из слоновой кости девочку с еле заметными признаками женственности.

Священник перекатывал на ладони курчавую негритяночку, потом швырнул ее в ящик и положил на ладонь беленькую.

— Сколько возможностей заложено в такой невинной пешечке, доктор! Она может превратиться в брюхатую бабу.

И Майнис ткнул пальцем в ладью.

— в быстроногую Диану,

И отец Иона нежно взял двумя пальцами за талию слона.

— в яростную кобылицу,

И, склонив голову набок, священник прищурился и показал в взглядом на коня.

— вот в такую кентавриху, полуженщину-полукобылу. Только в старого болвана превратиться ей не дано.

И Майнис щелкнул ногтем по бородатому королю. Таковы были единственные в своем роде шахматные фигуры его преподобия, которые он никому не показывал и которыми играл только с доктором Астом, да и то изредка.

По городу шел туман.

Странник-туман встретился с такой же прохожей мглой, и они шли вдвоем.

— И не подумаю!

— Напоишь, Эдуард!

Бледное существо дернулось.

— Или ты не Эдуард?

— Эдуард. А ты откуда меня знаешь?

— Я много чего и много кого знаю. Так что же, пивцом или водочкой? — спросило напряженное.

Оба существа вошли в пивную.

Сулейман держал на коленях дочку и глотал телевизионную передачу. Потом сказал жене:

— Я тут подработал по малости. Присмотри себе шаль пофранонистее!

В комнате стало тепло.

— Да, в жизни, как и в шахматах, бывают позиции с разными возможностями и превращениями, — продолжал Майнис, перекатывая с ладони на ладонь и поглаживая пальцем по пузичку беленькую пешечку. — Но от чего или от кого зависит, что лишь одна из возможностей воплощается в Явь. Кто избирает вариант? Как.. священник, я должен бы ответить: Бог! Но сие означало бы превратить меня, игрока, в бессловесную, безвольную шахматную фигуру. Сие означало бы уравнять Господа Бога с мусульманским кисметом, с элинской мойрой,

которая сильнее Зевса, или попросту говоря с абсолютной причиной, привело бы к детерминизму, который многие философы легко исповедуют на словах, но очень не любят испытывать на собственной шкуре. Вы не детерминист, доктор?

— Я? Нет. Я — психиатр, и мне просто бывает грустно. Особенно тогда вижу человека, который ну прямо-таки живое воплощение детерминизма.

— А где вы его видели? — восторженно воскликнул Майнис. — По-моему такой личности и быть не может.

— Да есть у меня один такой, что и не знаю, что с ним делать, — устало и уклончиво ответил Аст, но заметив настойчивый взгляд собеседника, добавил. — Когда-нибудь, только не сегодня, расскажу вам о нем, а хотите — так и покажу.

— Спасибо. Прелюбопытно было бы взглянуть. Так кто же всё-таки превращает пешечку в брюхатую бабу или в кентавриху? Я, судьба или стечение обстоятельств? И отчего может осуществляться только одна возможность, а не две, не три, не четыре параллельно или поочередно? — рассуждал сам с собой священник, забыв про врача. — Мне иногда кажется, что в инобытии могут осуществляться две возможности зараз. Два варианта разыгрываются параллельно.

— Это уж мне не по уму! — откликнулся Аст и откинулся на спинку кресла. Врачиные очи измученно, но пытливо посмотрели на грациозное его преподобие.

— Бойтесь, что я стану вашим пациентом, доктор? Не бойтесь! Скорее уж вашим духовником. Духовники неизбежно нужны каждому, будь они в рясе, во врачебном халате, в штатских штанах или в исподнице.

И отец Иона весело подкинул на ладони белую пешечку.

Исповедник смотрел на Магдалину, которая, кажется, несколько не каялась, что забралась в уютную исповедальню. И Майнис начал решаться. Он сел рядом с грешницей и положил ладонь на ~~теплую~~ тонкую, влажную теплую руку. Рука не шевелилась. Магистр богословия ждал. Отчаянная притихла. Тогда ладонь отца Ионы сама собой, как блюдце на спиритическом сеансе, стронулась с места и еле-еле — старчески, ах боже мой! совсем старчески, с неуверенной ласковостью поползла по руке, которая точно онемела. Ладонь доползла до кончиков ногтей, приподнялась, снова легла на кисть безответной руки и опять двинулась к пальцам. Тогда взор грешницы повернулся, как на оси, скоился и — тростиночка! беззащитная бабочка! ах, господи боже мой! — тихо погладищ щеку священника. Взор протянулся, как ласковая доверчивая рука.

До двадцати четырех лет она чуждалась мужчин. Не избегала, нет. Именно чуждалась. Она смотрела на них устало, как на суетливые на-

юедливые существа. Не отказывалась иногда от приглашений в кино, изредка позволяла брать себя под руку и провожать домой, но даже самому яростному и бестолковому спутнику передавалась от нее по руке утомление и равнодушие. Спутник начинал чувствовать, что он нужен ей, как рыба зонтик, доводил до дверей квартиры и отчаливал тем, чтобы не повторять рейса.

Подруги, а у Аглаи их была не одна, удивлялись, не понимая, отчего она не имеет успеха у мужчин.

— Ведь ты хорошенькая! И ухаживать за тобой ухаживают. Что же тебя сразу ниточка рвется?

— Где тонко, там и рвется, — отшучивалась она, и в глубоких глазах блестела лукавая грусть.

Приятельницам была видна, как на ладонке, честная и чистая жизнь Аглаи, настолько честная и чистая, что казалась им и диковой и скучной. У нее не было жениха, не было любовника, и ни в кого она не была безнадежно влюблена. Сколько же лет еще она намерена жить одна? Почему ей совершенно не интересны мужчины, ни сверстники, ни пожилые, ни красивые, ни умные, ни с положением — никакие! Со всеми она держит себя одинаково.

Заподозрить Аглаю в аномалии товаркам и в голову не приходило. Впрочем, у одной из подруг мелькнуло такое подозрение, и она решила немедленно его проверить. Но во время проверки сразу же убедилась по недоумевающим взглядам своей странной приятельницы, что та просто не представляет себе, к чему клонится дело.

— Что ты раздурилась сегодня! Чудная какая-то! — сказала Аглая, отталкивая подругу.

На все вопросы о женихах, замужестве, любви, она отвечала либо "не хочу", либо "не нужно". Если бы подруги знали то, чего она им никогда не открывала, то их не так ^{бы} уже удивляло, почему Аглая не хотела, почему ей было не нужно.

Герцогиня Регина была женщина крупная и властная. С женщинами она держала себя, как мужчина, а с мужчинами...

Карп Фролыч Пospelов, опоздав к дележу доктора Аста, пронюхал про герцогиню Регину и, собираясь отхватить себе добрый кус непачатого пирога, отправился заводить знакомство с этой ученой дамой, которая заправляла женским отделением международной психиатрической лечебницы.

25 декабря.

Люди празднуют Рождество, а я — нет. У меня нет причины его праздновать. Но ведь само отсутствие причины оказывается

причиной того, что я не праздную Рождество. Ну и мерзость же эта причина! Прямо-таки наваждение сатанинское! И откуда она взялась в человеческом уме? Как она представлялась древнему языковому сознанию в ту пору, когда она ещё не могла осмысляться как отвлеченное понятие, ни тем более как философская категория?

По-русски "причина" связана с началом действия, ибо "чинить" равнозначно "действовать" и "начинать". Да и в венгерском глагол *csinálni*, корень которого заимствован из славянских, означает просто "делать". Следовательно, причину и действие древнее сознание чуть ли не отождествляло. Действие было древнему человеку движением. А что двигалось? Двигались вещи. Движение одной вещи оказывало действие на другую вещь. Не оттого ли так родственны *causa* и *cosa*? Что вещи связаны с понятием причины, явствует из немецкой *Bedingung* и датского *Betingelse*. Правда, здесь не совсем ясно, как вещь становится словом в "условии". Но ведь подобное есть и в других языках. В русском вещь и *вещь*, а в польском глагол *rzec* /сказать/ и *rzecz* — вещь, дело. Впрочем, вещь и дело во многих случаях остаются синонимами. И немецкая *Sache*, и французская *chose* постоянно выступают в значении дела. А немецкая *Ursache* просто превращает причину в прародительницу вещей, в праведь, в прадеяние.

Итак, причина по древним представлениям вполне вещна и возникает в ~~мирах~~ вещном мире. Но есть ли она в мире не-вещном, в мире представлений и чувств?

Я верчусь и вращаюсь, но еле-еле успеваю следить за всем. Тому, Божьему оку, треугольнику Господню, полегче, нежели мне. Оно оглядывает разные места в одно и то же время, а я должно видеть разное в разных местах и в разное время. И из света Божия сотворяется несусветица. А не суть ли света именно несусветица, как основа его, как жена ему и мать?

Под городом были остатки старинного монастыря. Собор монастырский давно рухнул, развалились и кельи. Но в одной из них...

Горбоносый и крючконосый кутались в туман.

— Ваше открытие, — пучил глаза тощий в ослепительно белом воротнике, — одно из величайших открытий, которые когда-либо делал ум человеческий.

Раввин трепетал, натягивая на себя туман, и старался благодарно улыбнуться.

— Вы — великий человек! Но не гордитесь! Не смейте гордиться! Великий человек — это не более, нежели величие ничтожества. Лишь признавая себя жалким, человек бывает велик. Воистину сие есть единственное его величие.

— Но откуда, — трепетал и злился раввин, — откуда вы узнали, что я...

— Ниоткуда или, если угодно, из себя.

— Как из себя?

— Вычислил, глубокоуважаемый собрат, вычислил! Есть у меня такая вычислительная машина. Я ведь тоже в молодости баловался с математикой, грешил мельком. Небольшой грех, разумеется, и великого покаяния не требует. Однако я грешил по младости лет, а вы на старости отстать от математики не хотите. Ладно уж, грешите по малости! Не могу не восхищаться вашим открытием.

И выпученные глаза вспыхнули и завертелись, как восторженный фейерверк.

— А жидовские штучки свои брось! — неожиданно взвизгнул голос, словно распиливая Вейзера пополам. — Брось, говорю. Слышишь?

Фейерверк рассыпался искрами, геенский фейерверк. И вдруг погас. Погруженный по пояс в туман, стоял перед раввином грустный человек в черном камзоле и ослепительно белом воротнике.

— Не гордитесь! Даже если бы вокруг вас столпилось всё человечество, превознося вас превыше пророков, не гордитесь, ибо всё равно *он תמיד seul* — умрешь одиноко.

И Соломон Вейзер увидел, как уплывал в тумане, встав ангельским парусом, белый косоугольный воротник, один воротник. От ожегшей, как плетью, последней фразы великому Соломону Вейзеру стало до ужаса понятно, что и весь разговор шел на французском языке, и что сам он тоже изъяснялся по-французски, хотя о французском имел весьма туманное представление. И все это было ему так страшно понятно, что он пустился бегом домой, еле сдерживаемый старостью и радуясь, что в нем еще сидит такая толковая дьяволица.

12 декабря.

Я смотрел из окна, как в морозном тумане шел город. Он расхаживал во все стороны. Мучался и тужился. И мне вспомнилось, что город — родильный дом мыслей.

Родильный-то — родильный, да только всякие и роды и младенцы бывают. И вот что забавнее всего. Получит папаша младенца на руки, а младенец-то подмененный. Долго ли в родильном доме перепутать! Возьмет папаша чужого младенца и вос-

питывает, как родного. Носится с ним всю жизнь — моя, дескать, плоть и кровь!

В родильном доме мыслей так часто бывает. А впрочем, не всё ли равно, свой ли, чужой ли — лишь бы нравился и не мучал всю жизнь.

Да, надо приучать себя уставать от жизни. В усталости — спасение. Ибо, когда устаешь, себя уже не жаль. А ещё важнее суметь устать от себя. Суметь, а не подчиниться. Заставить себя устать от себя. Нужно быть активно усталым.

— Скажите, князь, — ведь вы астроном — конечно Вселенная или бесконечна?

— Конечно, конечно! — весело ответил Аполлон Ибн-Наср. — Но я утверждаю это с такой уверенностью не как астроном, а как человек здравомыслящий. Астрономии же такие вопросы, в сущности говоря, противопоказаны. Ведь если астрономия признает бесконечность мира, так ей самой придет конец.

Две пары очков Аполлона Ибн-Насра князя Нарренберга хитро блестели, а Роза, она же Розита, она же Розина, она же...

"В лечебнице для душевнобольных, возглавляемой известным психиатром доктором Александром Астом произошёл трагический случай Находившийся на излечении доктор медицины Сильвестр К., автор трудов по гипнозу, был убит вчера кем-то из больных. В убийстве подозревается профессор Черепушкин, многолетний пациент доктора Аста, больной безупречного поведения и морали. Ведется следствие".

— Я говорил доктору Асту, что либеральные методы не доведут его до добра. Из-за каких-то умалишенцев, извольте радоваться, такой знаток, как доктор Аст, милейший человек и, смею сказать, мой учитель должен тратить время и нервы на идиотскую неразбериху. Злость берет, коллега!

Коллега высилась, как разработанная до богатырши Венера. Она во весь рост попирала пол. В черном английском костюме — почти амазонке —, с папиросой на отлете герцогиня Регина была властной представительницей неукротимой женской воли. Доктор Виктор Пейн смотрел на нее с восхищением и легкой робостью.

— Совершенно с вами согласна.

— Такой порядочный человек и такой беспорядочный!

— Даже слишком порядочный и слишком беспорядочный.

Герцогиня величественно посмотрела на Пейна, и тот, почувствовав себя маленьким, хотя росту был куда выше среднего и телосложения жилистого, обозлился на Венеру-громадину и подумал:

"Ну попадись ты мне в руки, уж я бы тебе задал..."

— В нашем деле нужна строгая, очень строгая система, — ударила по каждому слогу герцогиня.

— Если надо, то и жестокая? — как-то выжидающе-полувопросительно, полуутвердительно произнес заместитель доктора Аста.

— Если хотите, то и жестокая.

И коллеги чуть-чуть улыбнулись друг-другу.

... она же госпожа Каваллини, исколесившая полмира и с громадным успехом исполнявшая партии в операх Доницетти и Россини, недоуменно смотрела на его бывшее сиятельство.

— Позвольте, *chez prince*, я что-то не понимаю — почему же астрономия, если она признает бесконечность мира, должна прекратить существование?

— А потому, сударыня, — поклонился звездочет, — что такое признание было бы для моей науки равносильно самоубийству. Правда, далеко не всегда тот, кто должен бы покончить с собой за ненужностью существования, лишает себя жизни. Ни логика, ни очевидности не одолевают привычки жить даже тогда, когда дело касается ученых и самой науки. К сожалению, и наука грешит непоследовательностью.

— И всё-таки я ещё не понимаю, — кокетливо хихикнула Роза, она же Розина, она же Розита.

— Простите! Я забыл, что говорю с женщиной и с человеком искусства, а не науки, — шаркнул ножкой князь Нарренберг. — Как это ни прискорбно, как это ни тяжело мне, астроному, душой и телом преданному своей науке, а я должен согласиться с тем, что из тезиса бесконечности мира следует вывод: астрономическая наука бессмысленна. Кому же будет охота открывать всё новые звёзды, туманности и галактики, похожие друг на друга, если он будет уверен, что открытия будут наслаиваться одно на другое или наматываться, как пряжа на клубок, до утомительного однообразия, точнее говоря, до разнообразного однообразия, для того, чтобы никогда не кончаться и чтобы в любой момент эволюции науки астроном признавал, как ничтожно мало ему ведомо, и понимал, что в бесконечной Вселенной таится некое огромное число неожиданностей, любая из которых может перечеркнуть все достижения даже такой независимой от земных дел науки, как астрономия? Наматывать клубок даже из разноцветных ниток — занятие, недостойное вдумчивого ученого. Это, сударыня, простите, больше похоже на дамское рукоделие.

И ножка князя Нарренберга, описав правильную дугу, шаркнула по полу.

— А невероятно большая потенция неожиданностей вселяет неуверенность в истинности, а тем самым в целесообразности астрономических знаний, и превращает Вселенную — *passer-moi le mot!*

И князь почувствовал, что ему опять нужно встать в положение дикуля.

Ничего ещё не образовалось, но я всё-таки скажу вам, кто оригинал моего нового портрета, скажу...

— Так говорите же!

— А вот возьму и скажу! — корячился и топорщился Баст, будто облежавший осенний ~~лих~~ куст. — А потому скажу, что терпение лопнуло. Правда так и прет из меня. Ведь наедине с этим портретом и мыслями о нем... Ох, если бы вы знали!

Волосенки растопырились, каждая волосинка голосила.

Любитель дам держал себя настолько пристойно и даже чинно, что пользовался, с разрешения доктора Аста, некоторой свободой передвижения по лечебнице. Ему не возбранялось встречаться и беседовать с пациентками, ибо доктор Аст заметил, что больной не пронизывал их до дна хищным кемальпашистым взглядом. Напротив того, яростная зрительная энергия при встречах с пациентками ослабевала, и женолюб становился меланхоличным.

Даже миловидная, совсем молоденькая Нини /это было её прозвище, а прозвали её так за то, что она не без удовольствия раздевалась при врачебном осмотре, кокетливо стучала двумя пальчиками по поползновенной докторской руке и говорила: Ни-ни!/, так вот даже Нини не была агентом, способным проявить в меланхолическом пациенте качества, за которые он оказался под наблюдением доктора Аста.

Не действовала на соперника Казановы и та, чьё прозвище было Нана, — складно сколоченная, добротная баба, которая перла выпяченным животом на встречного-поперечного и с отчаянием и злорадством выкрикивала ему: На! На! А когда кое-кто принимал это за правду, то получал такую оплеуху, что доктор Аст позволил больной беспрепятственно разгуливать по лечебнице.

Нини и Нана помещались в одной палате, отлично уживались друг с другом и даже дружили.

Роза, она же Розита, она же Розина, поглядев вслед миловидной фигурке, отозвалась о ней, как о непотребной твари.

— Вы так думаете? — спросил меланхоличной собеседник и очертил Нини с ног до головы взглядом знатока.

— Если и не так, то у неё все задатки быть такой. Непотребством от неё несёт за версту. Разве вы не чувствуете?

Меланхолический оживился.

— Кажется, очень милая непотребность, прямо-таки привлекательная. Я думаю, что привлекательное непотребство — достоинство женщины, а не порок.

— Вы что же, циник или парадоксалист? — ласково спросила певица.

— Ни то, ни другое, *signora Cavallini*, и меня удивляет, ~~ж~~ как это вы, актриса, с негодованием относитесь ко благороднейшему качеству женщины.

И князь, придав себе положение циркуля, вновь описал ножкой шаркающую дугу.

— *Passez-moi le mot*, в женщину, в кокетливую капризницу, от которой только и жди всяческих сюрпризов. А коль скоро натура Вселенной оказывается похожей на женскую, то уж какая тут наука! Сущее наказание, мука, а не наука, пытка, издевательство, каторга! Вот отчего я полагаю, что астрономия, точнее говоря, астрономы должны считать конечность мира необходимым постулатом.

— Но позвольте, *Durchlaucht*, — возразил я. — Бедь вы отлично знаете, что конечность вселенной — бессмыслица. За концом-то не может быть ничего. Нельзя представить себе абсолютный вакуум, нельзя вообразить беспространственное Ничто.

— Конечность мира — нисколько не большая бессмыслица, нежели смерть. Собственной смерти тоже нельзя себе вообразить. Однако вы признаёте, признаёте как человек просвещенный, что вас не будет, и что для вас всё исчезнет, всё, абсолютно всё, а, может быть, уже и кончается мир.

...жил, призревая развалины, человек в сане священника. Жил уже давно, ничем и никем не тревожимый, и думал, что ему выпала великая удача. Он не был отшельником и не чуждался заблудших сюда людей, напротив того, он почти всегда встречал их как радушный хозяин и владелец громадного каменного хлама. Вход в его келью выглядел, словно вход в полуобвалившуюся пещеру. Но внутри было чисто и удобно: из узкого, как ладонь, окошка падал на двухспальную кровать резкий свет, рассекавший её на две половины — темную, у стены и светлую — у ножного коврика. В изголовьи пуховыми холмами громоздились подушки. Под стрельчатым окошечком стоял стол — не стол, а какая-то помесь стола, секретера, конторки и бог весть чего. Он рос и тянулся к свету, как вавилонская башенка. Рядом с ним прислонилась к беленой стенке тяжелая книжная полка с редкими и неровными рядами черных корявых книг, похожих на гнилые зубы в обнаженных челюстях. Перед столом и полкой

раскинулось мягкое кресло с плюшевым сиденьем. Плюш был с плешью. Простецкий, чуть ли не первобытный голый стол забрался в угол, а около него примостились два ничем не прикрашенных, по-мужицки грузных стула на увесистых ногах. Казалось, они были обуты в деревянные башмаки. Но троица эта выглядела добротно, уверенно и даже самодовольно. Стол хвастался двумя размашистыми охапками сирени в старинных винных кувшинах, а между ними блесстел, как в церкви, серебряный поднос. На подносе висилась веселая бутылка и словно за руку вела девочку-рюмочку из непорочного хрусталя. А на самом дне рюмочки было несколько капелек крови.

Свист и визг. Свист и визг...

В углу у двери помещался облезлый поставец, кухонных столик с примусом и рукошумящий мойник. Над кроватью висела очень миленькая мадонна в виде фламандской крестьяночки, опустившей глазки на задравшего ножки младенца.

Свист и визг, свист и визг.

А над изголовьем повис истерзанный Христос.

Зря артачилась, сучка! Всё равно никуда не делась.

Взор, протянувшийся, как рука, воплотился в руку, и рука — надбже так! — наяву погладила щеку священника. Слабая, нежная теплота, точно причастие, наполнила тело Майниса. Его преподобие обнял грешницу, и легонько падшая на плечо исповедника голова Магдалины покаянно покоилась, кротко, как агница, щекоча волосами шею пастыря. Майнис чувствовал, что тепло и ей. Так они сидели робко и кротко, как заблудившиеся во вселенной ребятишки, пока отчаянная не оторвалась от плеча, потянулась и смиренно поцеловала отца Иону прямо в губы. Несмотря на всю теплоту и сострадание, Майнис не мог удержаться, чтобы не подумать: "Гряди, голубица, ... и дальше!"

И они, дружно обнявшись, пошли дальше — в исповедальную, где началось разоблачение грешницы.

Вернувшись домой, Соломон Вейзер, беспокойно ходил по кабинету, ломая голову, куда бы ему спрятать бумаги, на которых начиналось открытие. О каком открытии говорил ночной незнакомец? О первом, втором или третьем? На всякий случай раввин вытащил все свои записи, перелистал, отобрал тонкую пачку листков, свернул в трубочку и, держа свиток в руке, шарил глазами по кабинету, отыскивая рукописям тайный укром.

Всё это — ещё начатки, сырье, а уже пронюхали. Не люди, а гончие псы! Унести из кабинета и спрятать где-нибудь в синагоге? Но как тогда работать дальше? Оставить здесь — выкрадут.

И вдруг Соломон Вейзер додумался: сложил листочки вдвое, обернул кусочком черного шелка, вынул из ночной плюшевой туфли стельку, сунул в туфлю рукопись и накрыл стелькой. Если не всегда под рукой, так уж хоть под ногой!

Обитатель кельи Антон Файн трудился до второго пота в своем огорожке — полонил веселые зеленые грядки. Трудиться до седьмого отец Антон не любил, как не любил вообще никаких излишеств. На упи-таных щеках его готов был показаться уже третий пот, и посему отец Антон обрадовался, заметя, что к нему кто-то идет, идет быстрой птичьей поступью, точно галчонок или грачонок скачет среди развалин. Гостем оказался Иона Майнис.

— *Salve, domine* ! — поздоровался отец Иона.

— *Sit tibi idem* ! — ответил ему отец Антон.

Священники присели на живодрычащую лавочку, и отец Антон утёр начинавшийся третий пот. И пошла у них неторопливая душеспасительная беседа.

— Всё копаетесь в земле, отец Антон?

— Что поделаешь! Копаюсь, отец Иона, — просиял отшельник.

— Не понимаю вашего пристрастия к лопате.

— Лопату нужно уметь понимать, а вы, отец Иона, городской житель. Лопата — божье орудие, и надо с ней всю жизнь.

— И после смерти она вам верно послужит, отец Антон.

— Слава богу, не додумался ещё могилы рыть экскаваторами.

— Отчего же вы так привержены лопате?

— Ох, отец Иона! И ответить-то не знаю как.

Госпожа Каваллини бурлила от негодования и расходилась, как море на картине. Собеседник удивленно взглянул на нее:

— Вот вы, синьора, возмутились, а сами не понимаете, почему. А возмутились вы оттого только, что наши общественные взгляды мешают вам в открытую делать то, что вы не прочь были бы делать втихомолку. Любовь человеку — вроде хлеба насущного, и мне кажется диким, что на пути к насыщению ставятся всякие общественные преграды.

Певница забыла забушевать на свой счет и растопырилась всем рлухом.

— Если некая женщина согласна... Я ведь не признаю никакого насилия, ни физического, ни материального расчета, ибо он тоже наси-лие и портит любовное пищеварение. И я вообще не понимаю, что за радость располагаться с ней, если у неё нет расположения. Так вот, если она согласна стать кусочком хлеба, а в особенности когда она

этакая свежесвеженная булочка, то с какой стати за свою любезность она вынуждена носить клеймо гулящей или непотребной, или ещё — ...? — ну и вас по-итальянски есть такое подлое слово, слово-пощечина. Гулящая! А что тут худого? Гулять — полезно. Непотребная! Вот вздор-то! Непотребная — это та, которую никто не потребует. А эти как раз идут на потребу и себе, и людям. Общественная полезность их и значимость, по-моему, неоспорима. Какой общественный прок от женщины, отказывающей в куске любви всем, кроме мужа? Они — великие альтруистки.

— Будто! — хмыкнула Роза, она же Розина, она же Розита.

— Разумеется, альтруистические действия их, обращенные на нашего брата, отнюдь не исключают, а подразумевают эгоистические порывы в самой женщине. Но ведь и наш брат ^{немного} альтруист, — подмигнул больной. — Вот и получается взаимное благодеяние и взаимная польза.

— Но какая же порядочная женщина позволит себе...? — накинулась было госпожа Каваллини.

— А разве я говорю, что питаться любовью надо беспорядочно, как попало? Так недолго и пищеварение испортить, и удовольствие, и заболеть. Нет, синьора Каваллини, совместное питание любовью должно происходить по обоюдному согласию при наличии аппетита у обеих сторон. Нелепо отказываться при любовном позыве от готового блюда. Правда, оно может прийтись не по вкусу, но кто же заставляет вас отведать его вторично. Одна и та же еда обязательна только в ^{ко} занном браке.

— Вы закоренелый циник! — доводила себя до точки кипения бывшая певица.

— Циники мало ценили удовольствия и жили в бочках. Я вовсе не циник, а здраво и без общественных предрассудков мыслящий человек, настроенный мирно и благожелательно по отношению к людям. Я уже сказал вам, что не терплю в любовном деле никакого насилия и даже расчета. Но в конце концов не вижу ничего зазорного, если альтруистка воспользуется мимоходом, именно мимоходом, каким-нибудь подарочком. Отчего же мне не сделать приятное той, которая приятна мне, хотя бы и на несколько часов? Отчего не сделать приятное какой-нибудь вещицей в дополнение к своим приятным действиям. Я думаю, что во многих случаях приятность моих действий от материального аккомпанемента только возрастет. Рукоплескания, синьора Каваллини, были вам самым приятным, но сопровождаемые букетами, они делались еще приятнее.

И Кемаль-паша с доктором Штейнером наклонили голову больного перед госпожой Каваллини. Певица закатила глаза и улыбнулась.

Воспоминания не позволили ей возмущаться циническими речами собеседника, который продолжал рокотать вкрадчивым баритоном:

— Думается мне, сударыня, что несчастных жриц любви заклеямили всяческими кличками — непотребная, гулящая, площадная — *femme publique, traviaata, meretrice* — просто-напросто из зависти старики да старухи, вышедшие в тираж, да и наш брат, те, кому зелен виноград и те, у кого кишка тонка, уроды и уродины всех сортов и мастей, уроды не только по наружности, но и по нравственному своему нутру.

Кипя и фыркая, госпожа Каваллини легонько взмахнула ручкой, как бы отметая вздор, нагороженный собеседником, а тот поймал ручку на лету и почтительно приложился к ней, покорно завершая беседу.

Возражать госпоже Каваллини уже не хотелось.

Два существа, напряженное и переставшее быть задумчивыми, вышли из пивной.

— Но откуда же ты узнал, что я — Эдуард, да и про всё остальное — Так я тебе сразу и сказал! — ответило напряженное существо.
— Ты ведь обещался сказать, так нечего манежить. Раз уж подружились мы, так и надо по-дружески.

— По-дружески и скажу: в этой пивнушке нечисто, Нюх у тебя никудышный. Разве не почуял, чем там пахнет? Пошли в другую! Там расскажу.

По городу шел туман, а в тумане двигались почти в обнимку два существа.

Александр Цвейг одиноко сидел в кресле, а перед ним шумно шел спектакль. Вокруг напряженно дышал всем полумраком: зал. Темное дыхание тяжело ложилось на плечи Цвейга.

Сцена вспыхивала, сияла, меркла и опять загоралась. На сцене жили люди, громоздились чувства, то осыпались шуршащей блеклой листвой, то рассыпались фейерверком слова, и среди осенней осыпи, под потешными огнями двигались, как издавна заведено, фигуры.

— Картонажные персонажи! — подумал Цвейг. — Зря насоветовали мне пойти.

Но и от картонных ему было как-то не по себе. Внутри у них что-то жило и копошилось. И крохотные мурашки пробежали по спине Цвейга.

Сверкающий провал уходил куда-то дальше сцены, дальше размазанного задника, дальше и глубже осени, за потешные огни, за фейерверочные прищёлки, похожие на огненные внезапно разражающиеся поцелуи, и Цвейгу захотелось провалиться в блаженные тартарары.

Когда сияющая дыра торопливо закрылась занавесом, на одино-
го погруженного в кресло Цвейга нахлынул просветлевший зал.

Александр огляделся. Рядом с ним, устало сложив руки на коле-
ях, возникла молодая темнорусая женщина в серебристо-сером пла-
тье. Она сидела, опустив голову, и тяжелые ресницы были наклоне-
ны под тем же самым углом. Скошенному взгляду Цвейга понравилась
эта геометрическая гармония. Взгляд скатился с плеча по рукаву.
Женщина вздрогнула. Цвейг заметил это и вышел. Вернулся он на свое
место лишь перед самым началом второго действия. Аглая оценила
деликатность соседа. В следующем антракте она смущенно спросила
Цвейга:

— Вы не помните — я не расслышала — что он ей сказал, уходя?

Александр повторил реплику героя и попросил у соседки програм-
мку. Обменялись несколькими замечаниями о пьесе.

В следующем антракте Цвейг сказал:

— Я вот уже давно думаю и всё не могу понять, как это так по-
лучается, что зрители, и я в их числе, люди взрослые, образован-
ные, принимают за сущую правду, на какое-то время ничем не отли-
чающуюся от жизни, то, что творится на сцене? Ведь я знаю, что
актер играет, что стакан с ядом пуст, что стену пихни — и рухнет.
И тем не менее всё это не какие-то секунды или минуты, а иногда
и на целый акт, ничем не отличается от подлинного. Отчего я забы-
ваю о своем знании? Происходит какое-то самоодурачивание.

Аглая слушала по-ученически внимательно.

— Неужели же я ребенок, который верит в сказку? Но на что
взрослому человеку сказки, да ещё такие, на которые расходуешь
время и деньги? — добавил Цвейг с добродушной насмешкой.

— А мне кажется, — робко прислонилась к его мыслям Аглая, —
сказка нужна каждому. Ведь даже пожизненно осужденный рассказывает
сам себе сказки.

— Ну ему-то как раз ничего иного и делать не остается, а нам,
людям, которые живут...

— А разве вы живете всегда так, как вам хочется?

И тихие голубые глаза укоризненно посмотрели на Александра.

— Если бы можно было жить так, — засмеялся он, — то каждый был
бы, пожалуй, счастлив.

— И тогда сказки были бы упразднены, — осмелела собеседница. —
За ненадобностью.

— Чудесно! — расхохотался Цвейг. — Мне просто повезло сегодня.

— В чем? — с искренним недоумением спросила Аглая.

— Потом... В следующем антракте... А может быть не только в сказке дело, а и в том, что театр существует внутри человека, и каждый из нас актер в себе? — наклонился к уху Аглаи Цвейг, чувствуя, как дышит каждой волосинкой русая прядка.

Занавес начал раздвигаться.

Разоблачение грешницы совершалось грустно, покорно, привычно, устало и сладостно. Она была, как вынужденная жертва — и не в шахматах! Майнису стало жаль её и страшновато за себя.

В далеком, как смутное воспоминание театре, шла "Саломея" Уайльда.

Два существа сидели в пивной, и одно рассказывало другому.

Тошечное платьице поползло вверх, взметнулось, упало поперек стула и, обессилев, свесилось с обеих сторон. Грешница стояла в розовой сорочке, пронзительно-черных чулках и алых с запекшейся грязью туфельках.

Саломея начала пляску семи покрывал.

Разноцветные столбы света, словно чудовищные взгляды упирались в актрису. И свет столбенел.

— Всё? — спросила грешница.

— Нет, не всё еще. Нужно до конца, — жадничал и боялся исповедник.

Алые туфельки соскользнули с ног, и одна опрокинулась набок.

— Да! Помогу! — сказал Майнис.

И черный чулок пополз вниз.

— Люблю помогать.

А сам думал: "Ирод я, ирод! Неужели она попросит голову Крестителя?"

— Я уже очертил его голову.

— Да чью же?

— И это ужасно! Понимаешь? Ужасно!

— Ну и признайтесь, очертя голову!

Но Баст слова не мог выговорить. Он трепетал, словно крохотная кисточка в ошалелой руке и тыкался во все углы. Из него вырывался то свист, то визг. Наконец художник упал в кресло, потный, точно после припадка падучей. Теперь он был как зеркало, в котором ничто не отражалось.

— Лопата, отец Иона, есть орудие, вложенное Господом в руки человеку спасения его ради. Ею добывается хлеб в поте лица. Вот этого самого, — отец Антон вытер лоб. — А если я буду добывать хлеб машинным способом, то сие уже будет не по заповедям Господним, а по наущению диаволу.

— Не понимаю, *domine* !

— Чего уж тут не понимать, отче? Видно и вас по-малости опутал бес. Ведь вы не сомневаетесь в том, что душа человеческая нуждается во спасении?

— Я католик и настоятель, — устало произнес Майнис.

— Всё равно, — продолжал добродушно-румяный, как яблочко, отец Антон, — католик ли, православный ли или даже протестант какой-угодно масти, всё равно вы — христианин. А любой толк христианской веры полагает спасение души делом насущным. Христианин должен пешись о душе своей. А Сатана и ангелы его пекутся о погублении души...

— Прошу прощения, *domine* ! Я не только католик и священник, но еще и магистр богословия, а не малограмотная баба и не язычник из африканских дебрей.

— Не сердитесь, отец Иона, имейте терпение дослушать меня. Я не силен в богословии, но вот уже несколько лет, как я просиял духом и бываю рад, когда могу поделиться советом духовным с теми, кого под руку бес толкает.

Саломея сбросила седьмое покрывало.

— Ты!!! — заржал от души Эдуард.

На него зашикали. Соседка фыркнула. Свет на сцене погас.

Очищенная догола тростиночка стояла перед восхищенным его преподобием.

Как только занавес опустился, Аглая спросила Цвейга:

— Так в чем же вам повезло сегодня?

— Меня счастливо угораздило купить билет.

— Разве так трудно достать? По-моему не было ничего похожего на аншлаг.

— Видите ли, судариня... — начал доктор Цвейг, неуверенно чередуя мажорный и минорный лады, — ведь вы сами сказали, что не всегда живется, как хочется. Если и нет аншлага, то далеко не всегда в кассе остаются места, которые вам хотелось бы получить. И тогда вы либо довольствуетесь тем, что осталось. либо вообще не идете на спектакль.

На минорной ноте речь оборвалась. Нота отозвалась в душе Аглаи ноткой сочувствия.

Последний акт шел мимо обоих. Когда зал опять вспыхнул, Аглая и Цвейг встали одновременно и вместе пошли в гардеробную. Доктор подал Аглае легкое серое пальтецо. Она поблагодарила его кивком головы, и они опять вместе двинулись к выходу.

На улице они остановились, не зная, распрощаться или нет.

— Вы... обещали сказать, почему вам повезло, — решила Аглая.
— Ах, да! Я совсем забыл. Мне повезло... Но позвольте... Мы тоим и мешаем прохожим. Вам куда?

Аглая задумалась.

— В какую сторону? — уточнил Цвейг.

— Туда! — И махнула рукой.

— Туда так туда! И мне по пути.

Врач хотел было крикнуть извозчика, но Аглая тревожно прикоснулась к рукаву Цвейга.

— Не нужно! Я хотела бы пройтись. После театра я обычно возвращаюсь пешком, по крайней мере часть пути.

— Как вам будет угодно, — поклонился Цвейг и пошел рядом. — вы часто бываете в театре?

— Нет, не очень. Реже, чем хотелось бы.

— Вечная неполноценность бытия личности! — усмехнулся врач.

Аглая чуть было не обиделась, но тут же почувствовала, что обидного для неё ничего нет, а ещё через секунду поняла и смысл слов, и настроение спутника, поняла, и ей стало грустно и тепло.

Теперь они не только шли рядом, но и становились вдвоем. Грустное тепло передавалось доктору Цвейгу на расстоянии полуаршиа, и он искоса поглядывал на кротко склоненную шею, на беличью лапочку и тяжелые ресницы. Ему не хотелось тревожить спутницу вопросами. И не хотелось, и не надо было: Цвейг боялся её спугнуть, боялся искалечить нечаянную встречу. Доктор понимал, что каждый лишний вопрос, любая фраза вежливости ради окажутся для этой неожиданной женщины тревожным сигналом, и всякая возможность доброго будущего, которое уже где-то за углом мерещилось доктору Цвейгу, сразу же сгинет за поворотом.

Молчание, шедшее между ними, не смущало Аглаю. Молчание было доброе, встать, в самый раз.

Из-за угла вывернулся ражий детина, косоглазый, рыжий, с сизо багровым рубцом поперек широкой мясистой рожи. Сбычившись, он пронёсся мимо Аглаи и Цвейга и покосился на них.

— Какой неприятный тип! — вздрогнула Аглая. — Слово из страшного романа или пьесы с убийством. И почему он так посмотрел на нас?

От этого "нас" ей сразу же стало неловко, а доктор Цвейг подумал: "Вот мы уже и мы! А может быть, что-нибудь и получится из нас?"

— Вам просто показалось. Во взгляде у него я не заметил ничего особенного. По-моему он и не смотрел на нас.

Свое "нас" он произнес с таким крохотным ударением, чтобы нельзя было принять его за намеренное.

- Вы, кажется, очень впечатлительны от природы. А ваша профессия, вероятно, усиливает нервозность.

- Как? Вы знаете, кто я по профессии? - испуганно удивилась Аглая.

Доктор Цвейг спохватился, что он сделал рискованный ход. Но уж если ход сделан, так надо продолжать атаку.

- Знания мои, разумеется, ограничены и несовершенны, но всё-таки позволяют мне сказать вам, что вы учительница.

Аглая мысленно ахнула, но сразу же подумала, что спутник - вовсе не кудесник, а просто сыскной породы.

- Совершенно верно. Но может быть, вы знаете и мое имя? И фамилию? - спросила она чуть-чуть насмешливо и с нарочитым задором.

- О фамилии не имею ни малейшего представления, а что касается имени...

Карп Фролович Пospelов, благоденствуя на необозримой тахте рядом с необъятной супругой и подругой многотрудной писательской жизни своей Марфой Власьевной, с которой жил уже два десятилетия чинно, прочно и беспорочно и которую величал за властный нрав её то Властьевной, то Марфой Посадницей, рассказывал, пыхтя:

- Чорт этот толстый и Хитоуришка-лукавец, и утонченный, естет этот самый, прохвосты, сволочи! Вцепились в Аста, как пиявки, и сосут, и сосут. Понимают, скоты, что сумасшедшие теперь писателям шибко доходная статья. Пёс с вами - сосите! На Асте свет клином не сошелся. И тоже нашел, куда присосаться. Такая баба, Властьевна уж такая баба! - тебе не уступит.

Посадница всколыхнулась всеми мясами.

- Не очень-то присасывайся! А то... - и спросила деловито. - Кто такая?

- Герцогиня! Вот как, Марфинька! Знай наших! Наш Пospel вездe пострел! Герцогиню подстрелил, Властьевна! Чистопородную герцогиню. Ну и здорова же бабища! Уж и подою я её, подою! Материалу в ней на три романа хватит.

4 января.

Зима со слезой. Нет чтобы добрым морозом пробрало!

Опыт с кружкой удался. Она то скачет, то не скачет - как полоумная девка: "хоцу-скацу, хоцу - не скацу". Кружка очеловечилась, обрела волю и помешалась. Истинная полудура: хоцу - скацу, хоцу - не скацу!

Наконец-то появился на свете умственно отсталый предмет. Этак, чего доброго, я и вправду сумею спасти человечество

от природного рабства.

— Что касается имени, — повторила Аглая, понукая Цвейга закончить фразу.

Им подвернулся садик с лавочками и облезлыми кустами.

— Зайдем сюда! — предложил Цвейг. — На ходу мне трудно ответить. Зашли. Стояли. Порошило снежком.

— Я не могу утверждать, что знаю ваше имя, но думается мне, все-таки знаю.

Цвейг гладил Аглаю по ^{бзгласм}беличьей шапочке, всматривался в глаза, проглатывал, как голодный, слюну, и ему казалось, что имя у нее ласково-гладкое, голубинное, сладкогласное. Но как же согласовать это впечатление с истинным именем?

— Назовите мне либо первую, либо последнюю букву, либо одну из середины, и я скажу, как вас зовут, — решительно произнес врач.

Аглая стояла и перебирала имя, как нитку бус: какую-бы буковку-бусинку выбрать понеприметней?

— Г! — сказала она неожиданно для самой себя.

Цвейг отчаянно рванулся мыслью.

— Вас зовут Аглая!

Дунул ветер, и с веток посыпался снег.

— Как это вы узнали, по одной-то букве?

— Я, сударыня, психиатр, — поклонился доктор Цвейг. — А вот вы ни за что не угадаете моего имени, — подзадорил он спутницу.

— Отчего же нет? Возьму вот да и угадаю! — расхрабрилась Аглая, которой стало вдруг легко с этим неожиданным человеком.

— Прошу вас!

И Цвейг встал перед ней, словно перед объективом фотоаппарата.

Тогда Аглая — будь что будет! — с детской наглостью уставилась на него и выпалила:

— Ваше имя — Александр!

Доктор Цвейг пошатнулся. Аглая поняла, что не промахнулась, и ахнула.

— Вам просто повезло! Случайное попадание в цель, — нарочито недовольно протянул психиатр, чувствуя, что Аглая не обидится и можно будет потихоньку, мирно-мирно спорить дальше.

— Случайно или не случайно, а угадала! Как — это мое дело. И если хотите знать, то вовсе и не случайно.

Аглая рассмеялась и подала ему локоть. Из садика они вышли под руку.

— Итак, вы теперь *monsieur Alexandre* и занимаетесь психиатрией, — развеселилась учительница. — Может быть, на основании вашей профессиональной прощупательности вы мне скажете, какую

дисциплину я преподаю?

Теперь уже можно было ошибаться, и Цвейг бросил, не задумываясь:

— Историю.

— Нет, географию! Вот и не угадали.

— Ну, стало быть у меня вышла история с географией.

— Вам просто не повезло! — разошлась Аглая. — Да! Пойдите-ка!

А ведь вы так и не сказали мне, в чем вам повезло.

— В том, что я купил билет в седьмом ряду, кресло номер два, которое оказалось рядом с креслом номер три, — сухо отчеканил врач.

Они стали ещё больше вдвоем.

И когда Цвейг поманил шофера, Аглая не остановила руку спутника. Она сказала свой адрес. В дороге они не обменялись ни единым словом. У подъезда Аглаина дома Цвейг попросил разрешения позвонить ей. Аглая назвала номер телефона и квартиры. Цвейг не спросил её фамилию, подал ей свою визитную карточку, поклонился и поцеловал руку:

— Спасибо за нечаянную встречу и до следующей, *m-lle* Аглая!

Таксомотор умчал его в надвигавшийся туман.

Аглая за полночь ходила по своей квартирке, напевая какие-то бессмысленные песенки и переставляя с места на место послушные предметы.

Зал ждал. Сотни радостных лиц смотрели на помост. На помосте высились огромные пальмы, громоздились корзины роз, хризантем, георгинов. От пальмы к пальме тянулись цветочные вязи, перевитые алыми, белыми, голубыми и золотистыми лентами. У самого края помоста протянулась ослепительно белая кушетка с багряными подушками в изголовьи. Помост был пуст, и зал — ждал.

— То-то и беда! — в четвертый раз шепнул больной и затих.

— Но ведь вы изложили только одно решение вопроса, которое вам самому кажется не вполне надежным. А где же второе? Где или-или? — спросил врач.

— Есть и другой выход, — оживился пациент. — Есть, доктор!

— Покажите!

— Пожалуйста! Будьте любезны! Вам прекрасно известно, что любовь в браке постепенно ослабевает и превращается в исполнение супружеских обязанностей, в отправление брачного долга и личной нужды. КН понижается. И разве не бывает так, что для освежения чувств муж мысленно на месте жены подставляет более желанный образ, а жена воображает, что находится в объятиях более приятного мужчины? Воображение служит приправой к приевшемуся блюду. И самое забавное,

доктор, ... Ну как же не забавно, когда воображение разыгрывается одновременно у обоих супругов, когда они вплотную друг с другом изменяют друг другу, не подозревая о чужой измене и зная только свою? Занятно, а?

- Пожалуй, - криво усмехнулся психиатр.

- И вы знаете, доктор, что такие случаи, чтобы не сказать случаи, - совсем не редкость и не извращение какое-нибудь, а просто-напросто единственный мирный способ развлечься от любовной скуки. Об этом частом случае еще Гёте написал честно и неприкрыто. Помните, как Эдуард, обнимая Шарлотту, держит в объятиях Оттилию, а Шарлотта, охватив супруга, чувствует себя с капитаном? А ведь это ужасно, когда любовь начинает становиться скучной! Скучать по потребности - что может быть хуже!

- Не отвлекайтесь, пожалуйста, патетическими восклицаниями! Сейчас это излишний расход эмоциональной энергии.

- Я не отвлекаюсь, доктор. Я просто хочу подчеркнуть понастоящее скуку любви в браке.

- А я достаточно внимателен и сообразителен, чтобы читать и без курсива, - чуть-чуть сурово сказал Аст.

- Вот и прекрасно. Следовательно, вы признаете, что в браке со временем воцаряется любовная скука, усталость, однообразие, механизация?

- Бывает, - согласился психиатр.

- Не просто бывает, а часто, очень часто, настолько часто, что без этого не обходится ни один затяжной брак. И вы знаете, доктор, в каком возрасте чаще всего начинаются эти любовные неурядицы.

- Ну, знаю, знаю! - нетерпеливо перебил Аст, который вспомнил, как дверь распахнулась со смехом и захлопнулась с плачем. - Да где же ваш выход? Где?

- Терпение, доктор, терпение!

- Терпеть - это по-вашему выход? - свирепо и хитро спросил врач.

- Да не терпение - выход, нет! Это я прошу вас потерпеть и не перебивать меня. А то терпение, которое вы упомянули, - не выход, а безысходность, добровольное самозаточение, безропотное подчинение обстоятельствам - склоняет человек голову перед судьбой, обычаями и общественным мнением.

- А разве ему не бывает жаль жену, разве он начисто лишается всякого чувства к ней?

- В том-то и дело, что нет! Он, может быть, и привязан к ней, и дорожит ею, и даже обожает её, да то-то и загвоздка, что обожа-

емая днем матрона, ночью превращается в Матрену, в этакую кухарку, и любовь выходит кухонная. Из брачного ложа устраивается поварня, и от матрениной любовной стряпни поднимается скука.

— Опять вы о том же!

— А я подчеркиваю, доктор, подчеркиваю. Курсив, разумеется, некрасив, зато правдив.

— Ну ладно! Я признал и скуку, и усталость, и механизацию любви в браке, а дальше что?

— А дальше...

— Так вот поймите терпение дослушать меня, отец Иона!

— Я преисполнился его, отче, — ответил Майнис, усаживаясь попрочнее на живодрячущей лавочке.

Вокруг священников шла весна. Над ними висели херувимские облака, и монастырские развалины были как римские катакомбы.

— Думаю я, отец Иона, что городская жизнь во вред человеку. Есть от нее и польза, не отрицаю, есть! Да только вреда куда больше! Понимаю я, что без города не проживешь, в лесу лопаты не изобразишь, кореньями да акридами кормиться — мало радости. Я не к тому говорю, чтобы трудиться до седьмого пота — такого и в заповедях нет. Но есть хлеб в поте лица заповедано. А чего ради заповедано? Да того ради, отец Иона, что человеку без труда некуда будет себя девать. Бездельник — тот же развратник, грешник, без малого преступник. Мечется туда-сюда и сам не знает, чего хочет. То подавай ему невесть что, то ничегошеньки ему не надо. А хотеть необходимо, человек — существо с желаниями, только хотеть-то надобно немного. Когда хочешь немного, так и радости бывает больше, чаще посещает человека радость. А Господь не возбраняет нам радоваться. Зачем ждать радости от несбыточного великого, когда она может быть и от малого, от того, что у нас под носом? Радость-то внутри нас, а не во-вне. Так не всё ли равно, что её порождает? И пустяк может обрадовать больше, нежели великое. До великого-то, ох как далёко! А мелочь — вот она, под рукой! Голодный корочке больше обрадуется, нежели сытый званому обеду.

— Вы хотите, чтобы люди голодали иди же ели не досыта, отец Антон?

— И не думаю, отец Иона. Просто негоже человеку обжираться. А в городах обжираются жизнью. Аппетит-то, он во время еды приходит. До того обжираются, что блюют от обжорства, за животы от боли держатся, а сами всё думают, чего бы это ещё отведать. Совсем как старосветские помещики. Если не будешь желать лишнего, то и от пустяка будет радости не меньше, нежели от великого. Вот к чему я

это говорю. Скромности в желаниях надо побольше иметь, иной раз и попоститься не мешает. Не зря посты нам установлены: и желудку не дают избаловаться, и от разговенья приятности больше бывает, чем когда изо дня в день скоромное жрешь. А голодать по доброй воле — зачем же? Такого нигде во Слове Божиим не указано. Сдурю это, прости мне Господи, святые и подвижники делали. Усмирение плоти они вздумали превратить в умерщвление. А чего ради её умерщвлять? Просто не нужно позволять ей хозяйничать над собой. Так ведь, отец Иона? Вот вы ведь своей плоти хозяин?

— Я человек городской, — ответил Майнис, — Нам, горожанам, хозяйничать плотски труднее, нежели вам, отшельникам.

— Вы ~~перяекимит~~ пораскиньте-ка умом и взором, отец Иона! Ну что хорошего у вас, у городских? Сами не знаете, куда себя девать. И в театры, и в киношки, и на футбол, и к телевизору, и на скачки, и к столу карточному, и кроссворды решать и наперегонки бегать — любое, лишь бы не скучать. А человек, который рядом с природой, не ведает скуки. Не позволяет ему природа скукой баловаться. Вот вскопаю я грядку, посажу сладкого гороху. Гляжу, через недельку росточки показались, будто деточки мои малые. И любота мне, отец Иона! Неужто тут меньше радости, чем башкой мяч в сетку вогнать или кроссворд решить? А уж пользы-то куда больше — и говорить нечего! Зяблик у меня в сиренях каждую весну поет. Правда, не ради-ола он, не заведешь, когда захочешь, да ведь зато уж как запоёт, так и выходит, что тебе удача выпала, словно малая милость Божья, словно благодать на тебя сошла. А заводное-то, ну что оно? Верти, крути, куда хочешь, от скуки! Удобнее заводное-то, слов нет, удобнее, да зато и удачи своей не чувствуешь, не чувствуешь, что счастье к тебе прикорнуло. Заводное — это всё равно что некую ну нужду отправляешь. Надоедает оно, как его ни разнообразь. Одно слово — заводное! Читывали ли вы сказочку про соловья? Датский писатель Андерсен сочинил. Очень он понимал, что заводное, хоть алмазами усыпь, а с природным, с Божиим не потягается.

Опять же сказать, кто к земле да к лесу, да к лугу ближе, у того и душа благороднее, и помыслы богомерзкие ему в голову не приходят, и ко ближнему он тогда ближе, и у самого на сердце спокойнее. Вот зачем лопата нужна, отец Иона! Землю копаешь, пот проливаешь, а сам духом укрепляешься. А эти там, души губят, бездельники чортовы! — и отец Антон погрозился лопатой в сторону города. — Чем мячи-то ногами гонять да на кольцах выпендриваться, помогали бы лучше на досуге хлеб убирать, в огородах бы копались, ягоды бы, что ли, собирали, грибы, сено косили — всё бы, глядишь, польза и плоти, и брюху и душе. Да, и душе, отец Иона!

- По-вашему выходит, отец Антон, что молодому человеку и романы читать - душу губить?

- С чего это вы взяли, отец Иона? - удивился отшельник. - Пусть их читают себе романы и не только читают, а и заводят. Но зачем же романы, по киношкам таскаясь, заводить, в подъездах да подворотнях обжиматься, на бульварах да в ресторанах любовные заседания отбывать? Шли бы себе в лесок-то да под кусток! И на манер прародителей наших - на здоровье! Благослови их Бог! Уж тут им полное раздолье! За мое почтение! Или накопили бы копейку да у копейки-то и ворковали бы на приволье. Никто не мешает, никто не видит. И целуйся себе до упаду с Господня благословения! А то ведь сидят в полутемном зале и тискают друг дружку за руки. Велико удовольствие, подумаешь! Тьфу, одна растрáva!

Отец Антон Файн торжественно плюнул и растер плевков башмаком.

- Романы! - загудел он, приманиваясь на живодрычащей лавочке возле Майниса. - Романы их почитываю, а души не гублю. Всякие романы бывают, есть и душеспасительные, и плотские, и пагубные. Вот у меня Флоберово "Саламбо" стоит. Чем же не душеспасительный роман! Или возьмите, к примеру, "В лесах" Мельникова-Печерского! Есть такой писатель, отец Иона! Благочестие житейское! Очень советую почитать. Спокойнее жития святых читается. У русских писателей житийство куда как складно выходит! Бывают, ясное дело, и плотские романы. Опять же и от них пагубы нету. А вот есть, есть, - и отец Антон погрозил пальцем в сладостный весенний простор, - есть и душегубительные! Их я ниини, в рот не беру!

- Что это вы, отец Антон, на романы съехали? - иронически удивился магистр богословия. - Ведь вы о другом говорили.

- А это вы меня с панталыку сбили, отче. Сами про романы упомянули. А ещё вот что я противу городской жизни скажу. Вы только посмотрите, каких небоскребов навываивали! Человек на человеке сидит и на человека с верхнего этажа поплевывает. Так и прут в небеса эти башни вавилонские. Но обрушатся они, помяните мое слово, обрушатся! Ох, кабы воля моя, строил бы я домики вдоль дорог самоходных, по домику на семью. Кто садик бы при домике разбил, кто теннисную площадку - кому что любо. А по дороге самоходной в город ездили бы, когда надобность - на работу или поразвлечься. Я ведь тоже иной раз на своих двоих в город топаю - в оперетке раза два-три за год бываю. И в оперетку отшельнику не грех сходить. А вот зачем из жизни своей оперетку устраивать - не понимаю. Так бы вот и жили хорошенько в домиках при самоходной дороге, рядом с природою, с землею Божией!

— Не знал я за вами, отец Антон, градостроительских мыслей и талантов. Вот вы, оказывается, какой! Дорогу вам подавай самоходную!

— Не мне, не мне! Людям. Без города, понимаю, не проживешь, однако не надо из города делать ад. От земли удаляться — грех и погубление души. Вот о чем толкую, отец Иона.

— А вы задумывались над тем, надолго ли места хватит для ваших односемейных домиков?

— А что такое? — встрепенулся отец Антон.

— А то, что лет через сто-двести такую роскошь, как односемейный домик, и миллионер себе позволить не сможет. Так вырастет население земного шара, что и в тридцать этажей дома будут выглядеть лачужками. От тесноты поневоле на небо ползешь.

— Ну это уж не моего ума дело. Улита едет — когда-то будет. А покуда хорошо бы вот этак в домиках своих при самоходной дороге пожить.

Отец Антон Файн мечтательно поглядел вдаль, а потом спросил испуганно:

— А что, отец Иона, на самом деле скоро жить негде будет?

— Есть такая угроза, а осуществится она или нет, одному Богу ведомо. Людям же остается надеяться и не плошать, — сухо ответил Майнис.

— А ну как оплошают? — встревожился отшельник.

— *Errare humanum est*, — усмехнулся его преподобие. — Вы ведь не разучились по-латыни, отец Антон?

Зал молча смотрел на пустой помост.

Трижды возгласила начало незримая труба, и трижды ударили на помост и застыли столбы света — белый, голубой, красный. И хлынул оркестр ~~бухнуло~~ бушующей медью, а рядом с ней шагали стройными шпалерами деревянные духовые. В их зелени переливались птицы, и зелень пела. Над озаряющимся помостом двигались по воздуху свечи, хризолитовые, сделанные из окрашенного пространства. С последним ударом медных помост ослепительно вспыхнул. Оркестр умолк, и над помостом струилось и расплывалось, мерно покачиваясь, нежно-голубое пространство, а в нем плыл голос:

— Нынче у нас торжественный день. Мы присутствуем при совершении благороднейшего и разумнейшего акта в жизни человека.

В зале запахло чем-то опьянительно сладким. Невидимым облаком нависла полуминутная пауза. Концентрация благовония усиливалась. По лицам поползли умиротворенные улыбки.

— Сегодня мы поздравим...

Отец Антон одиноко копал грядку. Над ним висели херувимские облака.

В пивной шел дым коромыслом.

— Я про тебя всё знаю, Эдуард. Знаю, что ты мастер подслушивать. А я мастер подглядывать. Нам с тобой вместе надо быть, друг за дружку держаться. Заживем, брат, как в сказке про барона Мюнхгаузена!

— Да ты-то кто такой? Звать-то тебя как? — спросил захмелевший и растрепавшийся Эдуард.

— Узнаешь. Заказывай еще пару пива.

Табачный дым сернистого цвета плавал между стульями, как мутные мысли, и всё ниже и ниже опускался, еле различимый сквозь чад мокрый, как непогожее небо: потолок.

Когда-то в декабре.

Язык философичен. Гумбольдт был прав. Римлянам объективное означало вещественное. Внешний мир состоял из вещей и посему был *realitas*. Немцам же объективное есть то, что оказывает действие на субъект, и посему немецкий внешний мир — *Wirklichkeit*. А русским он то, что является не во сне, то есть Явь. /Действительность — поздняя калька с немецкого/. Латинский язык рассматривает мир материалистически, немецкий — динамически, а русский — феноменологически. И слава Богу! — не видно причины, по которой каждый смотрит, видит и понимает на свой лад. А может быть, здесь проявляется чистая, не опоганенная причиной воля языка — мыслителя.

Головы Крестителя Саломея не попросила и приняла положение Джорджиной Вены. Гора Вены разверзлась, и его преподобие стал исполнять роль Тангейзера.

Грешница была искренне изумлена рыцарской доблестью священника и исповедалась в своем изумлении:

— Вот уж не думала, что вы...

Вместо головы Крестителя Саломея держала в трепетных ладонях сияющую голову Ионы Майниса.

Следствие по делу об убийстве доктора медицины Сильвестра К. продолжается. К расследованию привлечены крупнейшие силы криминалистики. Профессор Черепушкин отрицает свою причастность к убийству.

... поздравим нашу добрую согражданку со скорым освобождением и выразим ей нашу признательность за её благородный поступок, — слыш над головами зрителей и растекался медоточивый голос.

Загремела музыка, помост на миг померк, а потом с каждым ударом оркестра стали хлестать струи света, и сияющий светопад обрушился на помост. Возле кушетки стояла седенькая женщина в легком веселом халатике.

Оркестр затих. Женщина помахала залу рукой и, грустно улыбаясь, сказала:

— Пора! Освобождаю и освобождаюсь!

При этих священных обрядовых словах зал поднял руки над головой. Молодой человек, весь в белом, как ангел, преклонил перед старушкой колени и подал ей на подносе высокую рюмку. Рюмка горела, как свеча. Старушка мутно-блаженными ~~как~~ глазами уставилась на озарение, исходившее из рюмки, протянула руку, и два тощих пальца сжали хрустальную талию. Рука согнулась, как рычаг, и поднесла рюмку ко рту. Рот разинулся, и рюмка торопливо выплеснула в него содержимое. Рот закрылся. Щелкнули зубы. Старушка опустилась на кушетку, посидела несколько секунд и улеглась на спину. Белый ангел подложил ей под голову вторую багряную подушку. Издалека заструилась светлая музыка.

Зал был, как единый глаз, вылезавший из орбиты.

Старушка потянулась и сказала с усилием:

— Славно!

Музыка угасала, свет затихал, и на помост набегали сумерки.

— Что это такое вы написали? — спросил доктор Аст.

— Так будет. Научатся освобождать место и освободиться. Так будет...

— Вот, не угодно ли? — сказал Аст, передавая тонкому писателю листки, исписанные твердым и четким почерком. — Ваш коллега балуется. Утопические повести сочиняет. Поучительно! Сумасшедшие писатели — кровные наследники писателей здравомыслящих. Их сумасшедствие есть ни что иное, как прямое и естественное развитие того, чем должен обладать в зачатке всякий истинный писатель.

— Вы не очень-то высокого мнения о нашем брате. — улыбнулся тонкий.

— Отнюдь. Я иногда подумываю, что любая профессия таит в себе зародыш безумия. Это вроде вируса, который до поры — до времени является благотворным стимулянтom, а потом перерождается, возникает новый штамм и пошло писать...

— Вы хотите сказать, что новый штамм не позволяет писать штампами? — ласково спросил тонкий.

— Насчет писать, не знаю как, а мыслить не позволяет.

— Прикажете здесь прочесть?

- Нет, можете взять с собой. Не все вам дневники читать. У нас здесь и книги изготавливаются. Только верните, пожалуйста, дня через три, а то он будет спрашивать с меня и волноваться.

- А что, он интересный человек?

- Все люди интересны, ибо у каждого есть свой интерес. Только надо знать, с какого боку зайти. Он - упрямец. Он знает только "так", а "этак" для него не существует.

Тонкий бережно уложил листочки в папочку, папочку сунул в портфель и откинулся.

Доктор Аст вынул из стола тетрадь и записал:

"Самый откровенный дневник - только половина правды человека, ибо одна половина его пишет для другой, той, которая набита фактами прошлого и будущего, пишет для себя-чужеумка".

Кажется, 29-го декабря.

А что такое воля?

Вундт наделял атомы волей и этим объяснял их движение. Воле приписывают ~~вдохновенность~~ сознательность, а если не сознательность, то целеустремленность. Это уж, по-моему, вздор. Теологический волюнтаризм - *contradictio in adjecto*. Шопенгауэр, правда, ослепил волю, но толкует большею частью о воле человеческой, о воле к жизни. Воля у него есть воля живого существа.

А не был ли прав Вундт? Может быть, бытие есть бесконечная сумма волей, и весь мир складывается из малюсеньких волек, делится не на дольки, а на вольки.

Так что же такое воля? Она противостоит доле, уделу, причинности. Недаром всякая неволя - недоля. Язык залезает в метафизику. А залезать ему нужно, чтобы зализать язвы вселенские. Язык умнее людей, умнее человека.

Попробую определить волю, исходя из метафизики языка.

В эту минуту Иона Майнис споткнулся взором на ступеньке лестницы, споткнулся о серые глаза, дрогнувшие ему навстречу. Они были молодые, под соломенным ворошком волос. Лицо надвинулось на священника из лестничного полумрака. Лицо улыбнулось Майнису. Улыбнулось как судьба. Как судьба, которая вот-вот разразится.

В очень маленькой кофейне, в той самой, что была в бледно-голубых, молочных и светло-кофейных тонах, Карп Фролыч Поспелов басил вразвалку:

- Мало писать умеючи, надо хватать умеючи. К любой вещи нужно с подходом и с подхватцем. Когда с боку, когда с тыла, а когда и прямо в рожу. И все это надо к сроку и к месту. Вот тогда будет

классически. Недаром классицизм требовал единства времени и места.

— Вы удивительно удачливы, Карп Фролович! — пропел иронически-завистливой флейтой тонкий писатель.

— Будешь удачлив, когда есть захочешь, да когда Властьевне того да сего подай.

— Позвольте осведомиться, — спросил, потирая руки, нежный, — как же вы достигаете таких превосходных успехов?

— Особой системы приемов у меня нет, — ответил Пospelов. — Вот, к примеру взять, ездил я полгода назад в одну весьма почтенную, старинную и страсть какую культурную страну. Отглядывал я её с разных боков, в жизнь её всматривался. Культура — бог с ней! Я её мимоходом прихватил. А с жизнью потруднее. Все базары исходил-избегал.

— Зачем же базары? — удивился тонкий.

— А затем, господа, что бабы на базаре куда больше и лучше любых министров знают, как людям живется. От баб вы получите куда более полную, красочную и правдивую информацию, нежели из речей, докладов и отчетов.

— Да неужели ты, Карп Фролыч, бабам базарным веришь? Бедь они чепуху несусветную городят! — засопел толстый.

— Верю. Городят. Только просеивать надо. Чепуха — как шелуха. Отсеешь, ан и останутся зернышки прямо на ладонке. Да еще какие ядренные! Любому правительству следовало бы, по-моему наводить справки о жизни в стране у баб на базаре.

— Карп Фролыч! — всплеснул руками тонкий. — Да вы ретроград!

— Вы ведь знаете, Карп Фролович-сан, — подхватил Хитоура, что уже изрядно давно существуют статистические методы, разработана методика опроса населения.

— А то как же? Знаю. Чего же тут не знать?

— И? — понукнул толстый.

— Ты мне не икай! Сам скажу. Методика опроса населения разработана — не спорю, да проку-то мне от неё — тьфу! — на пятак.

— Вы сомневаетесь в верности статистических методов? — навел на Пospelова очки Хитоура. — В их правильности?

— Зачем мне сомневаться? Им нужно, чтобы было правильно, а писателю, чтобы — правда. Правильность их научная, но мертвая, а бабы на базаре живые. Бабы, когда врут, так и то правду говорят. Только поспевай подхватывать. Полезно и в пивной посидеть, пьяную правду послушать. Сами, поди, знаете: *in vino veritas, ergo bibamus.*

И Карп Фролович отхватил полстакана черного кофея с коньяком.

— В бане правда тоже голышом выпирает. Надо бы и в колодезь спускаться, да годы не те. Опять же истина писателю не больно-то и нужна. За ней пусть ученые гоняются. А за правдой в колодезь лазить нечего. Нету её там. Ругают, правда, за правду-то ругают писателей! С Гомера до наших дней. Приходится иной раз её, голенькую, принаряжать. Что поделаешь! И я её когда в шортики, а когда и в рыску одеваю. Но ведь и под рыской она у меня голая, как говорила про нашего брата некая гувернантка. Ругают и меня. Вот даже в нужнике мужском я на стенке прочел:

"Ужасная сволочь

Поспелов Карп Фролыч!"

— Разве так? — удивился тонкий. — А говорят, что это было написано в дамском.

— Простите, пожалуйста, вы не из этого дома будете?

— Да, я здесь живу, — ответил священник.

— А здесь не проживает Заборский?

— Заборский?

Судьба вздрагивала, готовая разразиться плачем.

Или хохотом? А?

После разговора в кофейной тонкий писатель вернулся в свой кабинет.

Аглая ждала звонка или письма. Но прошла неделя, а доктор Цвейг не давал о себе знать. Когда же она будет, следующая встреча? Аглае казалось, что доктор проделал с ней какой-то психологический фокус, ведь он психиатр. Может быть он просто опыт поставил, и теперь она ему не нужна? Быть подопытной собачонкой обидно.

А доктор Цвейг целую неделю думал, что произошло с ним. Влюбился? Нет, он не был влюбчив. Загорелся? От чего же? От этой грустной женщины? Никакой страсти Цвейг не испытывал. Аглая держала себя с ним так, как будто исподволь кокетничала, как будто собиралась завести краткосрочный романчик. Но никакого романчика Цвейгу не хотелось. В нем не было ни малейшего вожделения. Да и нутром он чувствовал: сыграй он в романчик, пусться на интрижку, так и осечка выйдет. Доктор Цвейг был достаточно умным и усталым, чтобы не болеть самолюбием. Но получить отпор от Аглаи ему было бы поперек души: ему было бы и больно и горько. И он тут же понял, что ему стало бы больно и горько не за себя, а за Аглаю. А поняв, что за Аглаю, Цвейг и самоопределился в чувствах к ней. Это были нежность и жалость и где-то совсем сзади крохотное, как бесенок, любопытство. Он понял, что любит Аглаю не Александр Цвейг, а его

тадонь, которой хочется грустно и ласково гладить Аглаины русые волосы.

Через неделю доктор Цвейг...

— Вы постулировали конечность мира, ваше сиятельство, исходя из неудобства, которое причиняет астрономам тезис о бесконечности мира. Но разве это ответ ученого? — завел я, как игрушку, князя Харренберга.

— Это ответ человека и мыслителя. Ученому же нельзя быть ни кем, ни другим. Отчасти из-за этого я ношу две пары очков: одну человеческую, а другую — ученую.

И князь снял первую пару. Седой хохолок, словно волосной фонтанчик, забил из лысеющего черепа. Баст колотился о череп взором портретиста и, кажется, у него созревало желание написать зеркальный портрет Аполлона Ибн-Насра князя Харренберга.

— Но ведь неожиданностей, перечеркивающих убеждения и привычный взгляд астронома в огромной, хотя и конечной вселенной, будет всегда больше, нежели можно предвидеть, и стало быть опасность, что придется менять очки и взгляд, остается?

— Остается, но она будет во столько же раз меньше, во сколько вселенная конечная меньше бесконечной, то есть в бесконечно великое число раз, а сие означает, что опасность будет бесконечно малой, *quantité négligeable*, величиной, которой можно пренебречь, — победоносно ответил князь и повернулся на одной ножке.

— В конечной вселенной, — продолжал он, ковыряя мизинцем в носу, — возможно устанавливать законы, в ней действует принцип причинности.

— Будь он проклят! — завопил я, а может быть и не я, и уж разумеется не один я.

— Не понимаю, какой смысл проклинять принцип причинности, — пожал плечами астроном. — От проклятия ему ровно ничего не сделается.

— А мне будет легче, — возразил я совершенно спокойно. — Я как бы выхаркнул его вместе с проклятием. Простите мне, ваше сиятельство, внезапную вспышку, но ведь вы и сами на себе испытывали, что даже самые отвлеченные мысли могут аффектироваться.

— Это что-то из психологии, а я в ней полный профан.

— Но можете ли вы как астроном доказать канечность вселенной или привести основательные доводы в пользу этого?

— А мне и доказывать незначет, — и князь вздел на курносый носик первую пару очков в витиеватых трещинах. — Это сделал за меня Альберт Энштейн.

– Но ведь он доказывает конечность лишь четырехмерного мира?

– А какого же вам еще надо? – удивился звездочет.

– Мне лично не нужно никакого. А задумывались ли вы, ваше сиятельство, над тем, что четыре измерения – как-то скуповато для вселенной природы? Не маловато ли? Отчего именно четыре, а не два или десять? Можете вы мне доказать, что нет и не может быть никаких иных измерений?

– Вы сумасшедший! – отшатнулся князь Нарренберг, и волосяной фонтанчик встал совсем седым дыбом.

– Оттого-то мы с вами и находимся на попечении доктора Аста.

– Вы умалишенный! – крикнул князь и отпрыгнул от меня.

– Ошибаетесь! Сумасшедший и умалишенный – не синонимы.

– Плевать я хотел на синонимы! – завизжал Аполлон Ибн-Наср – Вы рехнулись!

– Позвольте, князь, доложить вам, что ваша астрономия – очень нудная наука. Вас никогда не удивляло, что она делает из мира до муторности однообразную картину? – Холодные и горячие небесные тела, носящиеся по одним и тем же законам движения в однородном пространстве. Галактика крутится за галактикой – вертушка какая-то карусель ребяческая! Право же, религиозные представления о вселенной были куда веселее!

– Науке не до скуки! – огрызнулся его сиятельство.

– Снимите, пожалуйста, первую пару очков и посмотрите на меня по-человечески.

Князь подчинился.

– Если мир не бесконечен, то откуда же взялась идея бесконечности вселенной? – спросил не я, а сосед.

– Онтологическое доказательство? – усмехнулся князь Нарренберг, словно увидел скелет динозавра – Поезжайте с ним назад, к себе в Англию, ваше преосвященство, и используйте его для проповедей в Кентерберийском соборе!

– И верно! – сказал еще кто-то. – Поезжайте с богом!

Но сосед по беседе не поехал, а насунился и остался паузой.

– А и правда, ваше сиятельство, если *nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*, если любая идея возникает из объекта, если мышление исходит из бытия и им определяется, а бытие пространственно, то откуда и как могла возникнуть идея внепространственности?

Кто это сказал? Никак не могу разобрать. Прозевало я, хоть и всевидящее! А в сущности-то не все ли равно, кто сказал? Нечего мне из орбиты вылезать и ~~пугаться~~ пугаться

Майнис ждал имени, точно причастия. Рот грешницы приоткрылся, острые неровные зубки блеснули на священника:

— Меня зовут...

Под Новый Год.

Я — воля, которая рвется на волю. Воля ищет свободу. В воле — желание, сила, мощь, движение и свершение. Так утверждает язык.

Ich mag, мне хочется, стало быть, я могу. А кто может, тот мощен. *Δύναμις* — он может и следовательно силен, ибо *δύναμις* есть и сила и движение. Кто хочет, тот может; кто может, тот силен; кто силен, тот движется; а кто движется, тот живет или, по меньшей мере, бытийствует.

Случайно или нет совпадение слов *vis* = ты хочешь, и *vis* = сила? *Qui vult, vivit*. В воле содержится жизнь. Шопенгауер прав. А жизнь есть бытие. Стало быть нет бытия без воли. Волею всё существует, одною лишь волей.

Разумная воля — философская бессмыслица. Воля сознательная — это психологическое, а не философское понятие. Правда, у человека в той мере, в какой он существует как человек, есть воля, движимая разумом, или разум, движимый волей — по мне это всё равно, пусть тут психологи спорят. Но у человека, как некоей замкнутой в себе формы бытия, есть и другая воля — сила, стремление, мощь, как у любой частицы бытия. И сия воля не знает причины. Такая воля есть причина самой себя, *causa sui*, как Бог у Спинозы.

А велика ли такая воля? У всех ли она одинакова? И не мешает ли ей ум, в который злобным гвоздем забит принцип причинности? Если выдернуть гвоздь, то воля вырвется в любую дырочку, в любую щелочку. И тогда она будет воистину моя воля, моя и всеобщая, ибо станет причиной самой себя.

Купеческий сын Артур Шопенгауер зарывал на сидевшего в уютнейшем благочинном шляфоре Фридриха Вильгельма Гегеля:

— Балбес! Голова твоя безмозглая! Ты воображаешь, что ты — мене, текед, фарес — все измерил, взвесил и вычислил. Да пойми, ты, остолоп! Если ты установил законы бесконечному бытию, а ты сам признаешь Абсолют и бесконечный Разум, если ты, поганый профессоршико, это сделал, так одно из двух — либо нет никакого Абсолюта и бесконечного развития — провались ты со своей жалкой троицей, святитель чортов! — ибо что же это за Абсолют, когда ты,

туполобый болван, знаешь и суть его и всё, что ему делать положено? — либо есть бесконечное бытие, и тогда тебе место в сумасшедшем доме, среди умалишенных, страдающих манией величия или на худой конец пусть уж в свинарнике, а точнее всего говоря, в стойле, ибо такому ослу, как ты лучше и места не сыщешь. Впрочем, ты и впрямь в стойло пристроился, профессор Берлинского университета! А уж если ты — мене, текел, фарес, то выходит, после тебя людям и мыслить нечего? Думали до тебя, думают рядом с тобой и после тебя будут думать, и полетишь ты по всей своей диалектике вверх тормашками. По твоей же диалектике ведь выходит, что ты будешь кувыркаться в веках, как ванька-встанька с головы на ноги, с ног на голову, пока не синтезируешься в полное ничтожество.

Профессор Гегель встал и запахнул халат.

— Вы, уважаемый коллега, выставили столько тезисов, что позвольте мне не ответить вам сразу. Мне нужно несколько лет на созревание антитезисов.

— Провались ты со своими антитезисами! — рассвирепел Шопенгауэр. — Хотя мир и есть представление, но ты мне тут представлений не устраивай, умным не прикидывайся, холера тебя заберет! И заберет, заберет! Помяни мое слово, заберет, взаправду заберет.

Гегель поёжился бессмертным умом и ещё глубже влез в халат.

— В студенческие годы я думал, что вы — великий человек, а вы и не великий, да и не человек вовсе, — загорячился внезапно возникший новый посетитель, взлохмоченный, чахоточного вида. — Каждый человек думает о людях и о своем существовании. А вы о чем? Об абсолютной и относительной истине? Пужна она личности, ваша истина! Держи карман шире! Философия ваша бесчеловечна. Вы рассуждаете так, как будто нет живых людей, а есть один *homo sapiens*. Велик мне, как личности, прок от ваших тезисов, синтезов, законов развития и прочей белиберды! Мне надо знать, как жить, ибо я могу умереть. А об этом у вас ни слова нет. Моему существованию от вашей философии ни на грош медный не легче. Научите меня жить, научите меня умирать, и тогда вы будете Бог, господин Гегель, а пока вы всего-навсего мыслящий механизм, бесчеловечный философ, как и добрая половина ваших предшественников.

— А вы-то кто такой, молодой человек? — полупрезрительно спросил Гегель.

— Купеческий сын, кандидат богословия и один из бывших ваших последователей, у которого руки чешутся набить вам философскую вашу морду.

— Руки коротки! — испуганно выпрямился Гегель.

— Не беда, вырастут! Через век встретимся, и уйдете с побитой рожей.

Чахоточный молодой человек выпорхнул в окно, Шопенгауер незаметно провалился в нирвану, а Фридрих-Вильгельм Гегель послал за аптекарем и обложился припарками.

В какой-то уклончивый день.

Думается мне иногда, что все люди по природе своей — поэты. Иначе поэзии незачем да и нельзя было бы существовать. Но то, в чем один человек — поэт, другому может быть безразлично или отвратительно. Впрочем, так же ведь и в самой поэзии бывает.

Наипоследнейший выродок где-то и когда-то бывает поэтом. Он может быть мерзок прочим, но в себе и еще для кого-то, для бог весть кого, он — поэт. Он обуян вдохновением, а чужие видят, как он от поэтического наития распустил сопли, как у него блаженные идиотские слюни текут.

Самый сухонький бухгалтериска может быть поэтом, играя в префферанс. И когда на карманника, инженера, министра, проститутку, генерала, торговку, извозчика, горничную, сиделку находит стих, так откуда что и берется в их нахлынувшей речи. Грабитель так увлеченно начинает материться, что только узкий и пристрастный взгляд на слово и чувство не увидит в бандите поэта. Поэтами бывают даже лингвисты. А в математике, думается мне, и шагу ступить нельзя без поэзии.

Вот уже несколько дней, как я прервал свои опыты и вместо них занимался санскритом.

Тростиночка-проституточка трепетала над перилами. Сколько ей лет, этой птичке, запорхнувшей в полутемную лестничную клетку?

Над перилами трепетала девочка-бабочка.

Доктор Аст записал во второй тетради: "Сегодня меня навестил Бог. Давно не видались".

Через неделю доктор Цвейг позвонил Аглае. Голос в трубке оказался совсем рядом. И русые волосы уже щекотали щеку психиатра. Из трубки шло легкое наваждение.

— Вы не хотите поехать в театр?

Аглая согласилась.

После театра они опять шли рядом и смотрели каждый на свой спектакль. Доктор Цвейг поймал себя на притаившемся желании устроить поскорее свой бенефис. И тут же поморщился за себя. Аглая не собиралась устраивать бенефис, но решительно не имела ничего против продолжения театрального сезона.

И опять они распрощались у подъезда Аглаина дома.

А ещё через неделю...

— Что вы можете рассказать нам о вашем пациенте профессоре Черепушине, доктор Аст? — спросило светило криминалистики с лицом из мореного дуба, в котором вращались белки.

Перед Астом лежала пухлая история болезни профессора Черепушкина. Психиатр легонько шлепнул по ней ладонью.

— Профессор Черепушкин находится у нас уже четыре года. Никаких эксцессов за ним не числится. Он — из тихопомешанных. В анамнезе алкоголическая наследственность. До госпитализации у него развился интенсивный бред преследования, от которого больной не избавился вполне и здесь. Однако вскоре после госпитализации интенсивность бреда резко снизилась, и на протяжении последних трех лет мы отмечаем только повышенную мнительность, которую в сущности нельзя считать явно патологической.

— Зачем же вы его держите здесь?

— Во-первых, кроме бреда преследования, у больного были и остаются другие явления, препятствующие его пребыванию в общегитии, а во-вторых, профессор Черепушкин сам просил меня не выписывать его от нас.

— Сам?

Белки светила завращались убыстренно.

— Да, сам. Вы удивлены?

— Отчасти. И вы согласились оставить профессора Черепушкина в вашей лечебнице? На ~~каком~~ же основании?

Голос светила стал требовательным и грозным. Доктор Аст снисходительно усмехнулся:

— Если бы я не согласился на просьбу профессора Черепушкина, то его по всей вероятности уже не было бы в живых.

Соломон Бейзер, приходя домой, ~~приходи домой~~, приучился гладить туфли. Они были, как пара котят. Но надевая их, раввин чувствовал легкое щекотание в пятках.

Я пытаюсь разглядеть причину щекотания. Уж не душа ли туда забралась.

— Меня зовут... — повторила грешница, — Меня зовут Саломея.

Отец Майнис чуть не чебурахнулся с постели.

— Откуда могла возникнуть идея внепространственности? — переспросил князь Нарренберг. — Да я думаю, что из простого "нет". Человек видел, что в одном месте есть, скажем, гора, а в другом её нет; так же, как и холод есть отсутствие жары. Вот ум постепенно

и научился противопоставлять одно другому: жаркое — холодному, длинное — короткому, высокое — низкому. Исподволь создавалось в уме впечатление, что на всякое присутствие бывает отсутствие. А когда возникло понятие пространства, то через несколько веков нехитро уже было предположить и нечто внепространственное, применяя к пространству идею отсутствия.

— Следовательно, из отсутствия, из не-бытия возникает уже некое анти? — спросил я и еще кто-то.

— Постольку, поскольку отсутствие предстает как противоположность присутствию, в этой самой мере, — уточнил астроном, поправляя на вздернутом носу очки с витиеватыми трещинами.

— Но встает вопрос о суверенности мышления...

И вопрос встал во весь рост сухопарого, болтающегося из стороны в сторону, сбивающегося сбоку на-бок худосочного и высокомерного верзилы.

— А дальше, глубокоуважаемый доктор, можно было бы испытать способ, который, глядишь, и помог бы хоть отчасти разрешить проблему брака. Как я уже сказал, а вы и без меня знаете, общественные формы семейной жизни бывают различные. Но моногамия приводит к скуке, а полигамия и полиандрия к неудовлетворенности одной из сторон и к перенапряжению, а иногда к истощению другой. Думается мне, надо бы завести вот какой обычай. Молоденькой девушке, именно девушке, положено выходить за человека пожилого, лет этак на двадцать, а то и на тридцать постарше себя. Поживет она с ним годков пять, десять, пятнадцать, а там, глядишь, он и отдал богу душу. И тогда вдова лет под тридцать или за тридцать выходит замуж за молодого, совсем молодого человека и радуется с ним годиков пять, а при удаче и девять, а уж если ей небывало повезет, то и все пятнадцать. Потом или помирает, или в бабушки переходит, а молодой человек превращается в пожилого и на молоденькой женится.

— К чему же такие возрастные сочетания? — лениво спросил Аст.

— А к тому, дорогой доктор, чтобы в любовь входить постепенно, с опасочкой, чтобы не бросаться в омут счастья и не захлебываться в нем, чтобы ^{не} оставаться в преддверии старости без утехи и не жалеть о сладком былом. Ни молоденькая, ни молоденький еще не искушены любовью и в паре с пожилым или с пожилой долго не будут чувствовать себя обойденными, зато после, когда почувствуют, тут им в довольно скорый срок прелестная компенсация за несколько блеклых лет. К старости-то так повеселее будет, а молодые и без того веселы, хватит им пока и других удовольствий. Если же вы составите баланс любовной практики с учетом КН, то окажется, что при предлагаемом мною способе заключения браков, любовная деятельность

будет продолжительнее, а КН — нисколько не ниже, с тою лишь разницей, что в равновозрастных браках КН недолгое время бывает высоким у обоих супругов зараз, а при изложенном мною способе — порознь, но зато сохраняется в общей сложности куда больше. Молоденькая ещё не сразу входит в курс дела, а молоденький тоже еще не упивается блаженством, но зато после!.. После смерти одного из супругов.

— А вы не думаете, что при таких браках участились бы убийства? — перебил врач.

— Вполне возможно, — хладнокровно ответил пациент. — В первое время, пожалуй, так и было бы. Но это научило бы старшего из супругов своевременно самоустраняться, расторгая брак. Отчего же, например, выходящему в тираж мужу не подыскать своей жене нового, молодого? Даже разводиться нет необходимости. Можно установить в определенном брачном периоде полиандрию или, точнее сказать, двоемужие: старый муж и молодой. Точно так же и бесповоротно сидящая жена подыщет своему тридцатипятилетнему супругу семнадцатилетнюю...

— Стоп!.. — хлопнул ладонью по столу доктор Аст. — А сколько же лет в это время супруге? Пятьдесят пять? Шестьдесят?

— Н-да! — задумался больной. — В этом случае у меня цифры как-то не совсем сходятся. Впрочем, не очень-то сходятся они и при нынешней системе браков.

После новой пары пива собеседник сказал Эдуарду:

— Зовут меня Каллистрат, а чин на мне немалый.

— Так ты в чинах? Вон что! — заехидничал Эдуард. — А глядишь на тебя, так и поглядеть не на что.

— С подглядом надо, с изнанки погляди, с изнанки, с внутренней стороны, тогда и увидишь, какая у человека подкладка бывает.

— Так какой же такой на тебе чин, Каллистрат?

— Пойдем отсюда! Здесь нечисто. А чин свой скажу тебе только запечатанным шопотом.

В обнимку, старательно переставляя ноги, они добрались до набережной. Вокруг не было ни души. Каллистрат взлез на пустой граничный постамент, где когда-то высилась могучая, но богомерзкая фигура, протянул руку в невероятно далекое пространство /Эдуарду было видно, как длилась и длилась эта рука/, согнулся дугой и шепнул, обдавая лицо Эдуарда каким-то шершавым дыханием:

— Я —

Баст был пуст, как замогильное зеркало, в котором отражается отсутствие себя. Баст опять не назвал имени. Но через неделю он чутился в хорошем настроении и сказал, посвистывая:

— А знаете, кто оригинал-то? Доктор Пейн.

И как только живописец произнес это имя, его тут же затрясло от какого-то страха. Он пятился, отмахивался, скулил и взвизгивал.

Жил-был город, а неподалеку от него жили три деревни и умирал полуразрушенный монастырь. Гуляя по полям и развалинам, весна ненадолго забредала в город и опять уходила на прогулку до самой ючи. Вздыхала вспоротая земля, ахали черёмуха и сирень, урчали, как младенческие животы, лягушки. Ночью над монастырскими развалинами нависло мировое пространство, а в одной из келий жил...

"Бог всё-таки удивителен" — записывал Аст в тетрадь. — "Я никак не могу понять, чем я так привязан к Богу, словно Бог отчасти я сам. В чем тут загвоздка?"

Майнис всё-таки не чебурахнулся и потрепал женщину по щеке: — Саломея — милое имя!

И грешница осталась жить у его преподобия. Он нанял ей крошотную комнатку где-то на окраине, но комнатка пустовала. Саломея ислилась в прислугах и обслуживала отца Иону честно, преданно и любовно сверху донизу. Майнис даже удивлялся нежной заботливости Саломеи, которая словно забыла прошлое и радовалась тихому житью-бытью, когда страсти улеглись не в постель, а в гроб.

Но кандидат богословия веровал в воскресение из мертвых и не пускал Саломею одну в нанятую комнатку.

Куда исчезла белокурая девушка, убежавшая с плачем от доктора Аста? Я шарило взором по всему городу и не могло напасть на след.

— Я, — неся горячий, как самум, шопот с постамента, — я — Великий Пермостратор.

Такого чина Эдуард не знал, но понял, что чин этот и впрямь немалый. Эдуарду стало не по себе. Вон оно с кем связался!

Но Каллистрат-Пермостратор слез с постамента и стал совсем простой — как пространство. И Эдуард почувствовал, что без Каллистрата ему, как без пространства, шагу не ступить.

И пошли они в обнимку шаг за шагом по городу — один шаг делал Эдуард, а другой — Каллистрат. Они были как две ноги, и шагали, шагали, шагали, вырастая в своей поступи выше фонарных столбов.

И я увидело, как две побратавшиеся ноги идут, перешагивая через улицы и крыши.

— Почему же вы решили, что профессора Черепушкина не было бы живых, если бы вы его выписали из вашей лечебницы? — иронически спросило светило по уголовным делам, вращая белками в мореном дубе.

— Больной страдает сильнейшей манией преследования. Или эта мания возникла на фактической основе, и тогда, — ладонь Аста рубанула воздух, — убийство профессора Черепушкина было бы вполне вероятным, или же эта мания не имеет реальных оснований, и тогда...

— Что же тогда? — насмешничало светило.

— Тогда она усилилась бы и, вероятно, привела бы к самоубийству. Полированное лицо криминалиста залоснилось от радости.

— Благодарю вас, доктор. Вы навели меня, кажется на плодотворную мысль.

Майнис проиграл партию Асту. Психиатр сидел крохотным победителем и потихоньку сиял.

— Вы обещали мне показать человека, который был бы живым воплощением детерминизма. Я хочу понять, случайно я вам проиграл сегодня, или проигрыш был предопределен от века, сам я оказался слабее вас, или меня бес попутал и продал вам со всеми моими грешными потрохами, — грустно сказал священник.

— Если вам угодно, так хоть сейчас покажу.

— Пожалуйста!

— А вы не испугаетесь? — весело спросил Аст.

— Авось да и нет, с божьей помощью да как-нибудь, — усмехнулся Майнис.

— Тогда пойдёмте!

— Вы, кажется, отъявленный сумасшедший, — сказал я взвизгивающему Басту.

— Неужели? — обрадовался художник и сразу успокоился. — Ну, если так, то я напишу новое полотно, такое панно, какого еще не знала история живописи, перед которым окажутся жалкими все эти "Снятия с креста", я напишу...

В миленькой кофейне за маленьким столиком сидели два писателя: тонкий и грустный.

— Вы нашли натурщика для своего романа? — спросил грустный тонкого.

— Да, и уже довольно давно.

— Пишется?

— Против обыкновения даже легко.

— Счастливцев! А я вот всё не могу ни приступить, ни подступить.

— К чему?

— Да к натуре своей. Тяжковато!

— Вы, нечего греха таить, человек несколько заунывный, но ведь термом заунывность нетрудно обратить в элегантную элегичность.

— Я не о своей натуре, не о себе, а о натурщике. Нашел я прототипа, да морока с ним — не знаю, что и делать, — поник головой

рустный, и усы его повисли, как стрелки внезапно испортившихся асов.

В миленькой кофейне у маленького столика, подходя на три-четыре мига, остановилось время. Тонкому показалось, что оно румяное, елокурое в крахмальной наколке, а грустный сидел к нему спиной.

— И чем же ваш прототип заморочил вам голову?

Усы-часы пришли в движение.

— Прототип у меня бухгалтер.

— Так что же? По-моему, за этой профессией никакой особой морали не числится.

— Что верно, то верно, да есть тут одна закорючка. Бухгалтер тот без малого Поль Валери.

— Как так Поль Валери?

Раввин гладил правую туфлю, как котенка, а потом целовал её, словно она была папская. Уж не собирался ли реб Соломон перейти в католичество?

Багровый, с рубцом поперек лица, по несколько раз на дню проходил мимо дома затаившегося математика.

Открытие Соломона Вейзера было тревожной тайной, которая не давала покоя трем личностям. И каждый из этой троицы был лицом на своём ладе важное.

"Бог опять звонил мне, но не застал меня дома," — записал доктор Аст.

А еще через неделю доктор Цвейг справлял свой бенефис на квартире у Аглаи. Русые волосы гладились покорно сами собой, плыли под руками, набегали теплыми волнами и ложились кротко, нежно и сонно...

Карп Фролович Пospelов обхаживал герцогиню Регину. Герцогиня доилась с трудом, но — слава богу! — не бодалась. Карп Фролович не любил и побаивался рогов всякого рода. Он говорил сам себе, что любой рог — ему враг, а от герцогини ему было порой страшно: одной половине Карпа Фроловича являлась не герцогиня, а богиня и врагиня, другой же — не Регина, а Рогина, какая-то мифическая королева, Минотавр в юбке. И сколько ни пытался писатель отшучиваться от себя и от неё, мысленно дразня её светлостью Рогиной и психиатрикой, от каламбурной музыки и словесной инструментовки прозаик становилось всё больше не по себе. Он хотел было вышутиться перед Властьевной, но испортил ещё пуще: а вдруг Марфиньку Рогина зацепит за самое живое, и необъятно уютной Властьевне высунутся из шуточного имени самые натуральные рога, пусть и в воображении бабьем, в взаимовыгодном воображении взаимовыгодные рога! Будучи писателем,

Карп Фролович хорошо знал, что такое воображение и как оно умеет превращать догадку в предположение, предположение — в подозрение, подозрение — в убеждение, ну а к чему приводят яростные убеждения в общественной, семейной и личной жизни он знал ещё лучше и посему не стал, через силу не стал вышучиваться перед подругой многолетней добропорядочной и невозмутимой семейной жизни.

Иона Майнис сказал тростиночке:

— Не опрокиньтесь через перила!

А сам подумал: "Да протитуточка ли? Что-то не то!"

Тростиночка испуганно выпрямилась:

— А мне всё равно... Мне хоть куда... Мне некуда...

И потупилась, точно в воду канула.

Его преподобие охватила вдруг нежная жалость, он почувствовал, что слегка горделивое спокойствие его недавней старости всколыхнулось, и что он может, пожалуй, хотя бы ненадолго расстаться с ней. И священник шагнул к тростиночке.

— Что с вами такое, милая? — отечески, на три четверти отечески спросил отей Иона.

Засмеётся она? Фыркнет? Разрыдается и убежит?

Соломон Вейзер читал в синагоге Тору, занимался безвозмездно с одним студентом, весьма способным, бедным и подозрительным с разных точек зрения, прогуливался по виадуку, глядел на рельсы и кил бы как и прежде, но дьяволица, засевшая в нем, иногда напоминала о себе и заставляла руку раввина гладить правую туфлю, а ногу чувствовать, что под стелькой лежит дело жизни раввиновой. Порою тощий Соломон вздрагивал, ибо дьяволица вынуждала его думать, что под стелькой спряталась Кошечева смерть. И раввин начинал мучиться: дьяволица заставила его так подумать, или он сам додумался? В ночных туфлях он, разумеется, по комнате не разгуливал, но ежевечерне надевал их на минуту, чтобы притронуться правой ногой к стельке. От подошвы вверх по икре, до самого нутра, местонахождения которого Вейзер не мог определить никакими вычислениями, шло мелкой дрожью великое удовлетворение, и наступало в нутре радостное спокойствие. Раввин снимал туфлю, гладил её и ставил пару под диван. И стояли две туфли — правая, истинная и левая, лживая и пустая, стояли до самой полночи, а ровно в полночь приходила математика и начинала одолевать Вейзера. Он занавешивал наглухо оба окна, доставал правую туфлю, вынимал листочки, пересчитывал их, иногда добавлял несколько строк, где шли попеременно с арабскими и римскими цифрами, древне-еврейские, латинские, греческие буквы и слова, и укладывал мысли под стельку.

Не математика ли была дьяволицей? Или же дьяволица обертывалась в полночь математикой? Соломон Бейзер не мог решить этой задачи.

Сулейманова жена купила шаль пофасонистее.

Вопрос о суверенности мышления продолжал стоять навтыжку.

— А кто этот больной по профессии? — спросил Майнис.

— Бывший доцент физики, — ответил Аст и провел гостя в небольшую комнату, обставленную, как гостинная.

— Это ваш кабинет? — удивился священник.

— Нет, здесь происходит свидание с больными, но я очень часто пользуюсь этой комнатой для разговоров с пациентами. На некоторых медицинская белизна моего кабинета действует угнетающе. А в этой комнате можно разговаривать непринужденнее.

Через несколько минут в гостинную вошла фигура. Она двигалась как на шарнирах. При каждом шаге правой ногой правая рука взлетала вперед, а при каждом шаге левой — левая. Ноги фигура выбрасывала, не сгибая, как палки. Она остановилась перед Астом, который сидел на диване вместе с Майнисом.

— Честь имею явиться, доктор, по вашему распоряжению, — сказала фигура, кивнула головой, трижды моргнула и застыла. Взор, как две проволочки, был припаян к Асту.

— Как вы чувствуете себя сегодня? — спросил врач.

— Я не могу себя чувствовать, — четко, чуть ли не по складам ответила фигура, не отрывая взора от психиатра. Взор уперся в него по геометрически точной прямой, и священник видел, что для этого человека он, Майнис, просто не существует.

— Отчего же вы не можете себя чувствовать?

Фигура шевелила губами, несколько раз открывала рот, круглый как у пескаря, но не говорила ни слова.

— Отчего же? — настойчиво повторил Аст.

Фигура продолжала разевать и захлопывать рот, заглатывая воздух, лицевые мышцы сводила легкая судорога, но стеклянные глаза по-прежнему тарачились на врача.

— Он не ответит без нажима, — шепнул Аст Майнису, поднялся, подошел к больному и надавил пальцем на пуговицу его халата.

— Теперь отвечайте, почему вы не можете себя чувствовать?

Судорога пробежала по всему лицу больного, оно сразу окаменело, стеклянные глаза опечалились, и раздалось четко и грустно:

— Не могу, ибо меня нет.

(Продолжение следует.)